

ВРЕМЯ ИДЫ 16 1977



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- НАША АРМЯНСКАЯ КРОВЬ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА
- ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ — МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

← *Д-р Израэль Эльдад • В своем пиру похмелье*

Роман Каплан • Проза ни о чем →
Мих. Стефанек • Прага, 21 августа



ВРЕМЯ и МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 16 апрель 1977

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Авраам Б. Иошуа

"Затяжной хамсин, жена и дочь" 3

Роман Каплан

"Наша армянская кровь" 39

Е. Цветков

Два рассказа 71

ПОЭЗИЯ

Михаил Крепс

"Слова — живые существа" 92

Лия Владимирова

"Моя душа — моя работа" 99

Анри Волохонский

"Стихи с базара" 102

Илья Рубин

"...Прикован к пушкинским размерам" 105

ПУБЛИЦИСТИКА

Д-р Исразль Эльдад

"В своем пиру похмелье" 111

Майя Каганская

"Наследники Толстовского

или шестидесятые годы" 127

КРИТИКА

Наталья Рубинштейн

"Сказание о земле Ибанской" 143

ИЗ ПРОШЛОГО

Михаэль Стефанек

"Прага, 21 августа" 163

Коротко об авторах 216

DIGEST OF 16-TH ISSUE
OF "TIME AND WE" 219

Главный редактор
Виктор Перельман

Редакционная коллегия

Фаина Баазова	Михаил Ледер
Георгий Бен	Борис Орлов (зам. гл. редактора)
Лия Владимирова	Наталья Рубинштейн
Егошуа А. Гильбоа	Дмитрий Сегал
Илья Гольденфельд	Иосеф Текоа
Михаил Калик	Аарон Ярив

Представители журнала:

В Америке — Эдуард Штейн.
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387 05 97 USA.
Во Франции — Галина Келлерман.
64, Rue de la Condamine Paris - 17, FRANCE.
В Англии — Александр Штромас.
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastreck, Brighouse Yorkshire
HD6 3PZ ENGLAND, t. (048471) 79345.



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

ПРОЗА



Авраам Б. ИОШУА

ЗАТЯЖНОЙ ХАМСИН, ЖЕНА И ДОЧЬ

"Снова хамсин"*, — промелькнуло у него сквозь сон, и в груди тоскливо заныло. Он ворочается в постели, закрывается лицом в подушку, откидывает руки по сторонам и превращается в немощный крест, почти безжизненный. Так и не проснувшись, так и не находя еще снов, он проклинает солнце, пропахивающее на его затылке длинную борозду.

Время — одиннадцать утра.

Жена ушла еще в шесть. Поехала в Иерусалим первым автобусом. В университет, на занятия, до самого вечера. Упорхнула как птица, даже не пискнув и не оставив следа. Ее постель убрана, ночная сорочка аккуратно сложена, он даже не помнит шороха ее шагов.

Дочь подняла возню уже в половине восьмого, когда сон самый сладкий; только под утро он и заснул-то по-настоящему. Сначала зазвенел будильник, затем она открыла все краны в доме, уронила сковороду на кухне, поминутно открывала и закрывала холодильник. Наконец, когда ему показалось, что она уже ушла, вдруг тихо отворилась дверь и дочь вошла в комнату, одетая в школьную форму: голубая

*Хамсин - знойный ветер, дующий из пустыни.

блузка и чересчур короткая юбка, — и, передвигаясь на цыпочках, принялась собирать учебники, которые он уносит к себе, чтобы коротать бессонные свои ночи. Неслышно собрала учебники и затолкала их в сумку. Он кое-как продрал веки, взглянул на нее краем глаза, пытался нырнуть назад в сон, но вдруг из-за рассеянности, приступы которой у нее столь часто повторялись, она начала напевать какой-то мотив. Он сердито заворочался в простынях, и она мгновенно выпорхнула из комнаты, захлопнув дверь уже без всякой осторожности.

Улица, на которой они живут — тупик, очень тихий. Ему все-таки удалось погрузиться снова в дрему, но, по мере того как усиливался свет, ему становилось все жарче.

...Этакий мужчина — лет сорока двух, сильный, волосатый, инженер-гидролог. Выздоровливает после болезни, а потому бездельничает, по ночам не спит, а у кровати стаканы, пузырьки, рассыпанные таблетки.

Мужчина в поту медленно, не размыкая глаз, сбрасывает с себя все. С него спадают рубаха, штаны, простыня. Голый, в чем мать родила, он наконец просыпается.

2

Несколько недель назад оборвалась его командировка в Африке, по ложной тревоге. Девять месяцев он работал в качестве иностранного специалиста на строительстве плотины, в ста милях южнее Найроби. Это была гористая местность, покрытая лесами, туманами, усеянная зеленоватыми хижинами. Израильская и голландская компании совместно получили по конкурсу подряд на осуществление технического надзора за этим довольно крупным проектом.

Израильская водохозяйственная компания, с которой он был связан много лет, предложила ему эту должность, и он не раздумывая и восторженно согласился. Помимо продвижения по службе, с которым связана, естественно, работа по надзору за таким крупным проектом, помимо того, что наконец-то ему не придется больше заниматься этим бесполезным бурением в Негеве, ожидалось еще и

значительное повышение зарплаты, так что, когда он через два года вернется, он сможет сменить машину.

Понятно, что захватить с собой семью ему не дали, да и что стала бы делать Тамара в этой пустынной горной местности? Из-за этого у него даже появились сомнения, но Рут их тут же рассеяла.

Его отъезд только позволит ей осуществить кое-какие старые планы: поучиться еще год в Иерусалимском университете, с тех пор, как они сошлись, она только и знает, что учится, а когда не учится — бредит учебой.

Он и инженер-голландец, толстый и довольно ленивый холостяк лет тридцати пяти, были единственными белыми в рабочем городке, построенном на объекте. Все остальные — африканцы, что-то около двух или трех тысяч (списки их все время менялись). Работы было много, к тому же спешили: кое-какие дела следовало завершить до сезона дождей.

Он сразу нашел свое место.

Его ломаного английского хватало на то, чтобы поддерживать отношения — впрочем, довольно ограниченные — с прорабами и местными инженерами. Вся остальная работа была связана с генпланами, рабочими чертежами и измерениями. Волнуясь на новой своей должности и страшась несчастных случаев и обвалов, он ни одного камня не разрешал ставить без рабочего чертежа. Голландец посмеивался над ним: какой, однако, аккуратист! Но он упрямо настаивал на своем. И еще он старался никуда не уезжать. Если же все-таки приходилось ездить в Найроби — за инструментом или запасными частями, — он вставал на рассвете, чтобы разделаться с делами в тот же день и успеть вернуться вечером.

Бывало, он выезжал из Найроби уже в темноту, мчался по шоссе, которое тут же переходило в пустынный, широкий большак, мимо сонных сел, вспугивая фонарями джипа диких животных, которых он даже названия не знал, добравшись на объект поздно ночью, он все-таки не ложился спать, а спускался сначала к плотине и там, меж немо торчащих лесов и бетономешалок, при свете карманного фона-

ря и тропических звезд, проверял работу, проделанную за день.

И так жил он почти в полном одиночестве, которое он пытался воспринимать как свободу. Его зарплату переводили жене, себе он оставлял только на карманные расходы, так как строительство приняло его содержание на себя.

Из посольства поступали время от времени бандероли с израильскими газетами, но здесь, на самой окраине тропических джунглей, они лишались своей злободневности.

Изредка он получал, понятно, короткие письма от Рут, к которым и Тамара прилагала полстраницы; он и сам писал не очень часто. О чем ему писать? — оправдывался он каждый раз, хотя никто и ни в чем его не упрекал. Иногда вместо письма он посылал нерезкий снимок, как он стоит у подножья плотины, на лесах или сидит, нагнувшись над миской. Старик негр из местных рабочих таскал с собой на работу громоздкую, квадратную английскую камеру и, не спрашивая разрешения, фотографировал всех. Потом он продавал эти фотокарточки.

Все шло вроде хорошо, как вдруг, среди ночи, когда он вернулся с народного гулянья в одном из сел, он проснулся с чувством, что его душат. Словно кто-то на него навалился и сжимает горло. Так повторилось еще несколько раз. То у него внезапно появлялись острые боли, он терял сознание на несколько мгновений и приходил в себя совершенно разбитый, словно после тяжелой болезни.

Он, который никогда до этого не болел.

Поначалу он думал, что все дело в климате, внезапном похолодании по ночам, в сырых этих ночных туманах и ветрах. Температуры не было, днем он испытывал лишь легкое головокружение и думал поэтому, что все само пройдет.

Спустя несколько дней он обратился к фельдшеру-негру и рассказал ему все. Тот выслушал его внимательно, растерялся и тут же распустил слух по всей деревне, что инженер опасно болен. Туземцы были поражены, не скрывали своей озабоченности и, напротив, отнеслись к его недомоганию со странной тревогой: поминутно спрашивались о его здоровье.

Десятки рабочих толпились вокруг него, жали ему руку, желали, как-то странно улыбаясь, скорого выздоровления. Ему тут явно симпатизировали. Голландец сказал, что ему следует показаться врачу, и он действительно съездил в Найроби на прием к врачу-англичанину. Ему трудно было описать все то, что он чувствовал, по-английски. Тот, однако, только посмеялся над ним, прописал болеутоляющие таблетки, снотворное.

Боли несколько стихли, но работать по-прежнему он уже не мог. Вставал поздно, после обеда ему приходилось возвращаться в свою хижину, чтобы полежать. Фельдшер теперь не отставал от него, являлся каждый день, приносил ему обед, ложился прямо на пол у его койки с аптечкой, часами не сводил с него глаз. Приходили рабочие и заглядывали в окна. Однажды вечером фельдшер привел того старика фотографа, одетого в пестрый комбинезон: джинсы и ярко-красная рубашка. Толковали долго, и выяснилось, что этот самый рабочий — бывший шаман этой деревни. Он, разумеется, и не подумал показаться ему, смеялся. Но старик вовсе и не собирался осматривать его. Робко остановился на пороге, глядя на него издали, опасливо, затем достал из кармана кусочек высушенной какой-то кожи, положил его на стол, заваленный чертежами, и был таков.

Той же ночью под утро он заметил при свете лампы темные какие-то пятна на своем исхудавшем теле и испугался. Пошел, разбудил голландца, упал без сознания. Наутро его отвезли, закутанного в военное одеяло, с чемоданами, в кузове полуторки, в Найроби в больницу. Больница, однако, была мала и стара, оборудование в ней еще с войны, и предназначалось оно главным образом для раненых. Там так и не распознали, что за болезнь. Работники посольства сочли, что его необходимо доставить самолетом в Дар-эс-Салам, в большую, новую больницу — помесь казармы и пагоды*, — построенную при помощи китайских специалистов и лишь недавно, всего пару месяцев назад, введенную в строй.

* Буддийский храм.

После многочасовой регистрации явился врач-африканец, который и должен был его лечить. Это был молодой человек, спокойный, серьезный на вид и в очках. Хотя больница была наполовину пуста, его положили рядом с умирающим стариком негром.

Целых три дня врач этот его исследовал, приходил даже по ночам. Он сделал ему десятки анализов и проверок, испытывал на нем почти все оборудование больницы, точно и впрямь решил провести генеральную обкатку аппаратуры. Часами он лежал голый на носилках, куда только его ни таскали: то направляли на него мощные рефлекторы, то присоединяли к запястьям электроды.

За продолжительными этими исследованиями молодой врач навязывал ему политические дискуссии. Оказалось, что он придерживается весьма крайних взглядов, ненавидит все западное и в особенности все, что так или иначе связано с белыми.

Впрочем, он не столько спорил, сколько излагал свои взгляды на беглом английском языке. Без улыбки, без сочувствия, словно прикосновение к белому телу, которое ему приходилось выстукивать, пренебрежительная обязанность. В белых специалистах он видел опасных паразитов, оплакивал судьбу Африки, об Израиле не слышал и слушать не желал.

Израильтянин старался избежать ссор. Лишь изредка, вяло улыбаясь, он пытался отстаивать мир Запада на ломаном своем английском.

Никогда еще одиночество не было таким тягостным: ни газеты, ни письма, ни живой души в полупустой больнице, пахнувшей свежей краской, рядом с койкой умирающего старика африканца; его толкают на коляске по длинным, темноватым коридорам с одного этажа на другой. Черное общество с черными сестрами, не говорящими по-английски. Болей, кстати, не стало, исчезли и пятна, только слегка ныло по ночам.

Когда с анализами было покончено, как-то в сумерки вошел врач, без халата, в сером пиджаке, несколько праздничном, и заявил ему, что у него рак крови — и довольно

запущенный. Рано утром ему придется лечь на операцию. Он даже достал какой-то маленький цветной рисунок, чтобы объяснить — что за операция. В голосе ни малейшего участия, он просто информировал. На дворе моросил как раз дождь, тропический дождик, неожиданный. Старик рядом лежал, задумчиво все слушал, засопел. Врач подошел к нему, иссиня-черный, спокойный, проворный. За окном опускалась ночь.

Израильтянин точно в лихорадке ответил, что он решительно отвергает этот диагноз, что тут какое-то недоразумение. Нет у него никакого рака, он в этом совершенно уверен, и он вовсе не собирается ложиться здесь ни на какую операцию. Уж если умереть, так дома.

Врач растерялся, он был сильно задет. Смущенно снял очки и принялся вытирать стекла. Белки его глаз расширились, он долго молчал. Наконец злобно заговорил, высмеял самоуверенность белого, круто повернулся и вышел из палаты.

Он тут же встал, оделся, собрал свои чемоданы и положил их на койку, спустился по лестнице, заблудился, но нашел-таки выход в гараж, а оттуда на улицу.

В тот же вечер он отправил в Израиль две длинных телеграммы: первую — компании, просил прислать замену, а вторую — Рут, чтобы предупредить о своем приезде. Рут он телеграфировал целое письмо, она ведь не знала, что он в Дар-эс-Саламе, подробно изложил результаты анализов, просил похлопотать о месте в больнице, в заключение передал путанные приветы, и все латинскими буквами. Заплатил восемьдесят долларов, но не обратил на это внимания. Служащий на почте, по виду мулат, заволновался — такой суммы ему, видно, еще не приходилось получать — встал со своего места, проводил его до самых дверей, пожал ему руку, восторженно благодарил, точно почта — его собственное предприятие.

Он долго блуждал по улицам, нашел гостиницу и снял номер. Как был, не раздеваясь, не сняв даже ботинок, он лег на кровать поверх одеяла, пролежал всю ночь без движения, без сна, коченя от холода.

Наутро он пошел в больницу, пробился через проходную со стайкой черных сестер, работавших в первую смену. Он думал, что его не заметят, но в регистратуре его задержали. Оказалось, что его отказ лечь на операцию вызвал целую суматоху, которая еще больше усилилась, когда его сосед-старик все-таки умер и обнаружилось к тому же и его ночное бегство. Он, однако, не слушал, что ему говорили, не обращая внимания ни на какие предостережения, расплатился и забрал свои чемоданы. Ему хотелось лишь одного — вернуться домой.

К полудню у него уже был в кармане авиабилет через Адис-Абебу. Он телеграфировал Рут номер рейса и вернулся в посольство, чтобы дожидаться самолета где-нибудь в вестибюле, сел у столика, заваленного старыми израильскими газетами. Он принялся копаться в них, стопка таяла на глазах, поплыла, точно пыталась залить его газетной бумагой.

Вдруг он вспомнил, что города-то он так и не видел, а ведь вот-вот оставит Африку на веки вечные. Он встал, сдал свои чемоданы в "Air-Terminal" и пошел шататься по улицам, словно что-то искал. Впрочем, ничего-то он не видел и не замечал; когда за домами блеснул Индийский океан, он, точно во сне, двинулся по направлению к воде и пошел по берегу меж хижин туземцев, сквозь мешанину жилых домов, арабских сводов и минаретов новых мечетей.

Изредка заходил во двор какого-нибудь дома, рассеянно ходил от двери к двери, пытался рассмотреть, "как они живут" и снова выходил на улицу.

Мало-помалу за ним увязалась кучка детей, стайка сверчков, они следовали за ним по пятам. Вышли посмотреть на него и взрослые. Один даже подошел и спросил чего ему надо. Он не стал отвечать, а только оттолкнул от себя любопытного негра. Поднялась суматоха. Детей прогнали, зато за ним увязалась небольшая группа подростков, стояя ворон.

Он отошел от домов, пошел вдоль берега, у самой воды. Запомнилось сероватое море, чуть желтеющее в сумерках. Несколько минут накрапывал дождик, тогда он немножко и поплакал, странное рыдание вырвалось из его уст, под-

ростки окружили его, пялили на него глаза, что-то угрожающе кричали. Потом ушли восвояси.

Он спохватился, что забрел слишком далеко. Вокруг одни поля, вдали пустыня. Он остановил старый тендер и шофер-африканец согласился за определенную плату вернуть его к цивилизации, к "Air-Terminal".

В Адис-Абебе его ждала телеграмма от Рут: "Ждем, место больнице готово. Не волнуйся". Пошатался с полчаса по залу для транзитных пассажиров, мимо киосков, где продавались сигареты и спиртные напитки.

Вдруг вспомнил, что не купил подарков. Подошел к одному из киосков и купил десяток одинаковых статуэток — фигурка зловещего африканского воина со щитом и мечом, — выкрашенных киноварью. Ему показалось, что он знаком с этим воином. Перед посадкой он еще успел опустить в почтовый ящик открытку голландцу: "Unbelievable, but it seems that I have Cancer. I return therefore to my land. Regards to our dam.

Yours..." *

В три часа утра самолет прибыл в Лод. За весь долгий этот полет ему так и не удалось вздремнуть. Так и просидел всю дорогу, прижав лицо к стеклу, среди облачных обломков и летних звезд. В Лодде шуршала сухая трава вдоль посадочной дорожки. Девять месяцев его не было в Израиле.

Аэропорт пустовал. Тут и там одиноко маячили усталые полицейские. Рут и Тамара замахали ему издали. Его поразило, как вытянулась Тамара: на целую голову прямо. Похудела, похорошела, и хоть ей еще и пятнадцати не было, а ростом догнала мать. Рут была в брюках, подстрижена коротко и неожиданно для него — в очках. Ну, конечно, они были встревожены, как ни пытались скрыть это. Он подошел к ним. Таможенный чиновник даже не посмотрел в его сторону, дал ему пройти безо всякого контроля.

Они обнялись, вернее, он прижал к себе обеих разом. Тамара не удержалась и громко, не к добру, заголосила. Ее дикое рыдание гулко понеслось по пустынному огромно-

*Невероятно, но кажется, что у меня рак. Возвращаюсь поэтому на родину. Привет нашей плотине. Ваш...

му залу, клевавший носом полицейский вскочил и побежал к ним, он и Рут долго успокаивали ее. Так же внезапно, как зарыдала, она наконец притихла, даже улыбаться начала сквозь слезы. Тем временем носильщик унес его чемоданы. Он подумал, что произошла ошибка, но оказалось, что его наняла Рут.

Израильская ночь, летняя ночь, залитая лунным светом, запах земли, исстрадавшейся по дождю. Они подошли к старенькой машине, он заупрямился и сел за руль сам, хоть и очень устал: за последние полтора суток он ни разу не сомкнул глаз. Рут уступила. Правил медленно, как никогда до этого. В машине пахло бензином, этакий ядовитый опьяняющий запах. Месяц, торчавший в ветровом стекле, казалось, вот-вот прыгнет на горизонт, огромный и удручающий. Как в длинные ночи в карауле, на самой грани сна, когда ты не то еще бодрствуешь, не то уже задремал.

Он искал слова, готовился приступить сразу к разговору, но Рут то и дело отвлекала его, нарочно заставляла говорить Тамару, а та, сидя сзади и вполне уже спокойная, путано рассказывала о какой-то школьной постановке, в которой она играла главную роль. Он ничего этого не слышал, какой-то незнакомый, ничего хорошего не сулящий стук в моторе поглотил все его внимание.

А вот они и дома. Все так же, как было. Хотя был уже пятый час, они не легли спать. Уселись пить чай. Мало-помалу Тамарина болтовня перешла в невнятный лепет, ее голова то и дело падала на грудь, пришлось уложить ее в постель: все-таки девочка еще.

Он вошел к ней в комнату потушить свет и застал ее свернувшейся комочком под простыней. В комнате, как всегда, балаган, книги и тетради разбросаны повсюду. Он нагнулся, чтобы поцеловать, а она шепнула: "Вот посмотришь, ничего не будет". В глазах, однако, страх так и сквозил, и ему даже показалось, что она боится — как бы не заразиться. Она закрыла глаза, у него сдавило сердце, он постоял и окинул взглядом разбросанные вокруг книги. Том ее детской энциклопедии был раскрыт на статье "Рак".

В центре страницы — снимки каких-то мышц. Он закрыл том, потушил свет.

Рут молча ждала его за вторым стаканом чая. Вселенская тишь кругом. Он пытался начать ей рассказывать о больнице, но она оборвала его на полуслове. Не сейчас. Завтра. Если уж ему так хочется говорить, то пусть расскажет о чем-нибудь другом, о плотине, например. Было уже около пяти. Что ж, о плотине так о плотине. Бодрость так и горела в нем.

Наконец они прошли в спальню и расстелили постель. Во дворе дул легкий утренний ветерок, ветви апельсинного дерева колыхались в знакомом пространстве за окном, сплошь увешанные сморщенными плодами, которых никто так и не сорвал зимой, когда его не было дома. Он сказал:

— Тамара выросла, похорошела.

Она сказала:

— Ты не поверишь, но пару дней назад мы купили ей первый лифчик.

Он засмеялся в ответ на эту откровенность.

— У нее даже кавалеры завелись, — добавила Рут. — Как-то она меня заставила прочитать записку не то от Дани, не то от Гади. Уж мы посмеялись.

— А ты завела очки, — шепнул он и свалился на кровать.

Она механически дотронулась до оправы.

— Но ты ведь любишь меня и такой.

Он обнял ее. Хоть он и устал бездонно, он все же хотел быть с ней, повалить ее на кровать и овладеть ею, хотя бы лишь для того, чтобы доказать, что он все-таки жив. Однако она его легонько оттолкнула, поцеловала его в лоб, выскользнула из своих брюк, сняла и все остальное, натянула ночную рубашку и легла. Он пытался настоять на своем. Может, это комната, которая ему так знакома, возбуждала его, а может, ее голые ноги. Все же пришлось отстать. Ведь еще до его отъезда в Африку бывали неприятности, а тем более теперь, после бессонных двух суток, в пять часов утра, да еще перед больницей. Он уступил.

Она заснула сразу, а ему сон не давался никак. В шесть в окна полило утро. Продрав глаза, в каком-то отчаянии,

он дотронулся до жены: я не сплю, мол. Она тут же проснулась, спросила, не разомкнув глаз:

— Что, дорогой? Болит?

— Не болит, просто не могу заснуть.

— Из-за болезни?

— Не только.

Молчит. Вдруг выпрямилась, спустила ноги, пошарила ими по полу, ища домашние туфли, так и не разомкнув глаз, вышла, словно лунатик, в ванную, вернулась со стаканом воды и снотворными таблетками в руках, положила их ему на тумбочку, повалилась на кровать, свернулась калачиком и снова заснула. Он отпил немного воды, до таблеток так и не дотронулся, и так заснуть и не смог. Спальню стали заливать постепенно яркий свет и хамсин.

Настоящий летний день.

Тамара проснулась в половине десятого. Рут дала ей записку: "Господин учитель... Отец Тамары... и т.д." Он все еще ворочался под простыней. Только где-то в одиннадцать замерли все звуки, и он заснул мертвецки. Проспал что-то около двадцати часов. Пришлось отложить госпитализацию на целые сутки.

Снова прошел точно те же анализы, только на этот раз как-то спешно. Врачи и сестры целыми группами входили и выходили из его палаты. Настоящий израильский галдеж, замешанный на ярком до боли свете. Среди врачей обнаружился один его старый знакомый, еще с войны, так тот все время смеялся над ним и над его таинственными болями. "Вот еще глупости!" — кипятился он и возился с ним с подчеркнутой пренебрежительностью, точно вся эта болезнь не стоит даже того, чтобы отнестись к ней серьезно! А все-таки относились и даже подолгу: продержали несколько часов в рентгеновском кабинете, усыпили, облучили, пришлось даже проделать "пустяковую" операцию. Он снова и снова говорил всему персоналу, врачам и сестрам: "Послушайте, я не маленький ребенок. Можете говорить мне всю правду..." Однако все в один голос говорили: "Пустяки, какое-то странное отравление крови". Один врач сказал даже,

что это, пожалуй, какая-то древняя африканская болезнь; она упоминается в книгах путешественников. Мало-помалу он успокоился. Его друзья из "Водхоза" повалили к нему валом, закидывали цветами. Он снова и снова повторял обстоятельно все тот же рассказ, ругал врача, того африканского. Откуда вдруг рак? А ведь упорствовал. С чего бы?

Когда ему разрешили курить, он полностью убедился, что врач-негр ошибся.

"Of course, no cancer"*, — написал он, посылая открытку на элементарном английском, обливаясь потом, в полдень, в тяжкий хамсин, голландцу, оставшемуся на плотине.

3

Недели через две его выписали. Рут приехала сразу после обеда, сама бегала из кабинета в кабинет, собрала огромную пачку бумаг, анализов, его вещи и его самого. Она очень торопилась.

Тамара была на уроке музыки.

Внезапное столкновение с людной улицей подействовало на него расслабляюще. Он уступил баранку ей, уселся рядом, взял связку бумаг и в безмолвной лихорадке начал копаться в ней, раскрывал конверт за конвертом, доставал бумаги, пытался разобрать неряшливый почерк врачей, вглядывался в рентгеновские снимки, тщился понять анализы мочи и крови, наконец сдался. Громко поклялся, что Тамара поступит на медицинский, он ее даже спрашивать не будет. Теперь ему не обойтись без персонального врача. Потом он начал прислушиваться к двигателю, пялить глаза на мир, движущийся им навстречу, сквозь который Рут прокладывает себе путь своими нахальными маневрами.

— Как ты водишь машину?! — кипятился он. — Тебя давно нужно было посадить...

Она улыбается и как ни в чем не бывало едет на красный свет.

Пешеходы ругаются вдогонку.

*Разумеется, не рак (англ.).

Недалеко от дома, у парикмахерской, где он, бывало, стригся, она вдруг затормозила и велела выйти.

— Сходи подстригись, друг мой. У тебя вид, как у зверя. С Африкой-то у нас теперь покончено...

Он взглянул в зеркальце, что над рулем. И правда, огромное лицо дикаря, словно лесом поросшее, с прогалинами дубленых щек; надо лбом гигантская копна, придающая выражению глаз какую-то мягкость. Ни дать ни взять — художник. Где-то внутри возникает щемящее чувство: жаль расставаться с волосами.

Сама Рут едет в город, ей нужно купить что-нибудь на ужин.

В парикмахерской его встретили с ликованием. Он рассказал о Найроби, об Индийском океане, о плотине, о туземцах. У него уже начали появляться определенные темы и обороты. Тем временем ему состригли патлы, пришлось дважды подметать пол вокруг кресла, оставили короткую прическу, "американскую", по словам хозяина парикмахерской. Не обошлось и без маленькой неприятности, когда, желая расплатиться, он не нашел в кармане израильских денег, прямо-таки ни единого гроша, а лишь несколько кенийских шиллингов. Все засмеялись. Что смешного? Заплатит в следующий раз. Ведь никуда же он теперь не уедет.

Когда он вышел, было уже совсем темно. Его стриженую голову обдувал ветер. Он подошел к своему дому, и там темно. Ни Рут, ни Тамара, верно, еще не вернулись. Своего ключа у него еще не было. Он пытался войти в дом через кухню, но и там дверь была заперта на ключ.

Делать нечего, пришлось присесть на ступеньки. Пряный запах скошенной травы доносился до него от цветущего сада соседа.

На улице, у самого забора, кто-то торчит. Молодой парень, ждет, видно, Тамару; то стоит, то в нетерпении ходит туда-сюда. Может быть, его интересует дом напротив, — там тоже нет света в окнах.

Наконец подъехала машина, а в ней Рут. Оставаясь в темноте без движения, он видит, как жена тащится через силу с двумя набитыми авоськами. Столкнувшись с ним в темно-

те на ступеньках, она испугалась и в первое мгновение даже не узнала его, затем рассмеялась, поставила авоськи и погладила его по стриженному затылку.

— Они, я вижу, безо всякой жалости, лишили тебя последних следов экзотики...

И тут же вспыхнула: как это мужчина отдает голову на подобное растерзание!

Из авосек, как из рога изобилия, посыпались лакомства: первоклассные сыры, дорогие колбасы, все самое лучшее, уж Рут скупиться не станет. Только хлеб она забыла купить. Он помог ей накрыть стол. Голоден он был как зверь. Битый час ждали Тамару. Ему это наконец надоело, и он решил сесть за стол один. Но тут во дворе послышался голос Тамары. Он вышел посмотреть и увидел ее сидящей на тротуаре у дерева, велосипед, валявшийся среди улицы, рядом гитара, и рядом тот паренек, которого он заметил раньше, обхватил дерево и тихонько с ним борется. Он приблизился к калитке и негромко позвал: "Тамара?" Паренек тут же отступил, слегка даже испугавшись, торопливо попрощался.

Тамара вскочила, подняла гитару, подняла и велосипед, прислонила его к забору и вошла во двор.

Взволнованная, какая-то восторженная. Он было собрался сделать ей выговор, как она, заметив его голый череп, оглушительно захохотала, сразу же села за стол и принялась есть. Рут подняла их обоих и велела вымыть сначала руки. В тесной ванной, склонившись рядом с дочерью над раковиной, он заметил сквозь облегающую блузку полосу ее лифчика; он и не обратил бы внимания, если бы Рут не сказала.

— Что за мальчик?

— Мальчик?

— Ну, парень...

— Да так, тоже участвовал в постановке.

— Как зовут?

— Какое это имеет значение?

— А все-таки...

— Гад.

— А дальше?

— Ты его не знаешь. Он из выпускного. Скоро в армию пойдет...

За столом говорили главным образом о гитаре. Он приставал с вопросами: чего это ей вдруг вздумалось бренчать? Ведь до его командировки она играла на пианино. Да и с каких пор надо учиться бренчать на гитаре? Чему тут учиться?

Да что он болтает! Полкласса учится играть на гитаре.

И тут Тамара прочитала ему о гитаре целую лекцию. В конце концов она даже вскочила, схватила инструмент и что-то ему сыграла. Однако ни мотивчик, ни его исполнение не имели никакого отношения к ее пространным теориям и ничего не доказывали. Все же приятно было потягивать кофе, когда собственная дочь в школьной форме и с сияющим лицом наигрывает мотив за мотивом лично для него. Они еще некоторое время подшучивали друг над другом. Рут молчала, погруженная в свои мысли, почти грустная. Ее зрачки отчужденно поблескивали, когда она уносила и подносила тарелки. Утром она собиралась на целый день в университет и сейчас ушла на кухню, чтобы сварить им курицу на завтра. Тамара вспомнила вдруг об уроках и отправилась к себе в комнату.

Он поудобнее уселся в кресле и начал опять изучать больничные бумаги, на этот раз со словарем. Какая-то муть. Ничего кроме не получалось.

В половине двенадцатого они легли спать. Он разделся, и от голого его тела остро запахло больницей, эфиром, йодом и чем-то еще. Он так и лег голый, чтобы показать Рут новый шрам, след "пустяковой" операции. Она, однако, все не приходила, он достал газету и принялся перечитывать ее. Его одолевала усталость, он даже едва не задремал. Наконец пришла и Рут, взглянула на шрам, разделась, натянула ночную рубашку, тоже полистала газету. Он встал, влез в пижаму, потом Рут потушила свет. Все было таким обычным, ему и в голову не приходило, что ему опять не удастся заснуть, до половины третьего будет бродить в нарастающем отчаянии один по комнатам, смотреть то на жену, то на дочь, спавших как убитые и во сне очень друг на друга похожих. До него доносились стрекотание сверчков, крик маль-

ток, гудение далеких машин. На небе напротив появилась огромная луна, не то она источала, не то ее заливал ослепительно яркий свет. Разбудить Рут он уже не решался. "Быть того не может, сейчас засну сам", — сказал он вслух, ворочаясь с боку на бок.

Проснулся он часу в одиннадцатом. Застал утренний дом, совершенно безмолвный, и хамсин...

4

Он ходит по дому нагишом. Бродит из одной комнаты в другую, закрывает окна и ставни, борется с жарой. Останавливается у зеркал и подолгу разглядывает себя; где нет зеркал, он ищет свое отражение в стеклах окон.

Его волосы отросли, мало-помалу он обретает тот же вид, какой у него был три недели назад. Лениво чистит зубы, входит в залитую солнцем кухню и оказывается среди балагана, оставленного дочерью. Масло лежит на столе и тает, молоко киснет, дверца холодильника не захлопнута, варенье капает на сохнувший хлеб, среди горы грязных тарелок жалко корчатся ломтики сыра, — точно хозяйничала шайка хулиганов, а не тоненькая неряшливая девчонка. Среди грязной посуды целая батарея блюдец, ситечек, ложечек, посредством которых она пыталась снять пенку с молока — и тщетно. Тут же и скомканные клочки бумаги с формулами и цифрами — видно, пыталась повторить в последнюю минуту материал по математике; сегодня у нее как раз контрольная. Он ставит чайник, сваливает грязную посуду в раковину и принимается грызть два ломтика хлеба, оставленные ею. Жует медленно, неохотно, расслабленно сидя на табуретке, вдруг громко вздыхает, и хлебные крошки запутываются в его лохматой груди.

Тишина. Голый, в чем мать родила, он звонит в полумраке в Управление фирмы "Водхоз". Он названивает туда каждые три-четыре дня. Пытается поймать одного заведомом, который обещал устроить ему новую работу. А того все нет. Нет и сегодня. Приходится довольствоваться разговором с секретаршей, которая первым делом спрашивает,

как он себя чувствует. Он отвечает "отлично", спрашивает — что же они там решили. Она отправляется искать его дело. Ищет долго. В трубке слышатся голоса, смешки. Наконец секретарша находит его дело и сообщает, что ему утвердили дополнительный отпуск по болезни. Двухмесячный.

Его словно обухом по голове ударили. Он не понимает. Чего это вдруг дополнительный отпуск?

Она, разумеется, не знает. Спросит босса. Может оттого, что работы в эти дни не очень-то много. Так или иначе, через неделю босс вернется, как она ему сказала еще в тот раз.

Они болтают просто так. Она не торопится (если бы она знала, что он говорит с ней, а сам стоит в полутьме голый!). Он расспрашивает о том, кто сменил его в Африке. Молодой инженер, с которым он даже не был знаком. Пишет ли?

— Что за вопрос! Всем прислал цветные открытки.

— И что же он пишет?

— Гужует.

— Гужует? — у него защемило под ложечкой. — То есть как "гужует"?

— А вот так. Ужасно доволен. Прямо влюблен в это место. Много разъезжает. Написал об интереснейших уютных деревнях, о фольклоре тамошнем. Кто-то даже воскликнул в управлении: "Что это? Мы им инженера послали или поэта?"

Он смеется, хохочет: поэт... Вот это да!..

— А плотина?

— Что ж плотина... — не сразу отвечает секретарша. — Плотина в порядке. Но ее, видно, закончат еще не скоро. Пришло письмо из министерства труда, того, кенийского, просят продлить договор. У них новый план: хотят удлинить ее и перекрыть еще одно ущелье.

Он загорается.

— Еще ущелье. Которое?

— Не знаю... Я ведь ничего в этом не понимаю...

— Южное?

— Не знаю.

И сломленным голосом:

— Извините, что я так надоедаю. Вы ведь знаете, произошла ошибка, роковая ошибка. Мне не следовало уезжать оттуда...

Да, она слышала. Что за народ, эти врачи там! Как можно, прямо бухнуть человеку в лицо: у тебя де, мол, рак.

— Тем более, когда никакого рака нет и в помине... — перебивает он ее негромко, со злым смешком.

— Именно, тем более когда и в помине нет, — повторяет она его слова, едва не переходя на визг от возмущения. Такая маленькая, невзрачная девушка, он ее хорошо помнит. И вдруг ей некогда. Кто-то там вошел, хлопнула дверь, в кабинет проникло солнце, гудение бетономешалки, кто-то кричит.

— Извините, пожалуйста. Кто-то пришел.

— Ничего, ничего. Только, пожалуйста, не забудьте про мою работу, то есть про этот отпуск...

— Не забуду. Вы что? Как только босс вернется... Первым делом...

— Впрочем, я постараюсь заскочить к вам как-нибудь.

— Стоит ли? В такую жару...

— Ничего страшного нет...

И снова он принимается ходить босой, беззвучно, точно гигантская кошка, туда-сюда. Входит в комнату к Тамаре. Находит в углу гитару, вынимает ее из чехла, садится на кровать и начинает выщипывать разрозненные звуки.

5

Гитара, чепуховый какой-то инструмент, сплошная скука. Что уж можно играть на гитаре? Медленно, старательно он подбирает каждый звук: детские песни, гимн, Плач Тель-Хая. Егохватило не больше чем минут на пять-десять. Он отложил гитару и опять пустился на поиски — чем бы заняться. В первые дни после больницы он копался в ящиках, рылся во всем, перечитывал свои собственные письма из Африки, рассматривал нечеткие свои снимки, затем принялся за старые связки: письма с войны, когда они еще не поженились, странные признания в любви, взволнованные и нетерпеливые, наседавшие на Рут, которая так и не

могла решиться; иронические письма к ней от других, но тех же лет; великое множество писем от подруг; образчики всевозможных стилей, большей частью витиеватые, и почему-то очень мягкие почерки. Там же был целый сборник стихов, написанных подругой, которая — он это ясно видел — была влюблена в Рут.

Помимо писем, документы. Десятки школьных табелей Рут, ее погоны (у нее было звание в армии); свидетельства о рождении ее же и Тамары (а где его?), договор на покупку дома; она тут прятала каждый клочок бумаги, который был так или иначе связан с их прошлым. Он решил привести все это в порядок, но разве можно что-нибудь выбросить?

После долгих размышлений он выбросил конверты.

Странные они какие-то, эти утра, пропитанные дремой и хамсином. Он просыпался где-то между десятью и одиннадцатью, окна открыты настежь, и весь дом так и тонет в ярком солнечном свете. Он немедленно принимается закрывать все щели, воюет с каждым лучом. Потом он шатается голый, в им же созданной темноте, одиноко, меж кроватей, кресел, иллюстрированных журналов. Непривычна, нова для него и эта тишина, дом без Рут, словно они и не живут друг с другом. Четыре раза в неделю она уезжает на целый день в университет, пропадает на лекциях и в библиотеках, немолодая уже женщина между молодыми людьми. В оставшиеся два дня она обивает пороги в учреждениях — ищет работу. А кроме того, хождение по магазинам, по вечерам — возня на кухне или подготовка к экзаменам. В субботу же, когда стирает свое белье, она буквально валится от усталости, собирает в кучу все газеты, погружается в них, дремлет на диване или на солнце, растянувшись на небольшом клочке газона, оставшемся у них во дворе, обнажая чуть ли не догола тело, натертое каким-то маслом, без очков, ни дать ни взять слепая, либо сомнамбула; возле ее ног пикирует маленький транзистор, и так час за часом. Так и не поймешь — в сознании ли она или нет. Только изредка она перебрасывается парой слов со своими стариками родителями, очень тихими, являющимися к ним каждую субботу в гости; сидят себе на веранде, дожидаясь милости

Тамары, которая как раз по субботам испытывает особый прилив активности, носится из одной комнаты в другую, беспрестанно кому-то звонит, точно какой-нибудь массовый митинг устраивает.

И именно в такие субботы, среди всей этой суеты, он почему-то тоже переживал прилив энергии, строил планы, предлагал съездить на море, в лес, в Эйлат, в город, к сирийской границе. Тщетно умолял он лоснящееся, худое, девчоночье тело, на котором, однако, уже заметны были глубокие складки; свою упорно доводящую себя до обморока под нещадным солнцем жену.

Когда старики уходят, он валится рядом, выключает транзистор, пытается уснуть около нее. Кончается, однако, тем, что он подолгу глядит на нее, гладит рукой по волосам, пытается увлечь ее новыми прожекторами, которые сообщает ей шепотом: например, родить еще одного ребенка.

Она шепотом же отвечает.

Она знает, суббота сегодня, но ведь он сам видит, она ужасно устала, а впереди такая же безжалостная неделя. Что делать? Такое время, сумасшедшее. Вот она кончит с учебой, с экзаменами, тогда она готова будет съездить с ним не только к сирийской границе, но и пересечь ее. А пока, почему бы ему не сходить к друзьям? Впрочем, где они все, друзья-то его? Жаль, что он так запустил дружбу...

С тех пор как он вернулся домой, они еще ни разу не были близки.

Но она и тут находит оправдание.

Правильно, он на сто процентов прав, так дальше нельзя. Но ведь он еще не совсем здоров. А она, что ж, разве он не видит сам, что ей не до этого, просто сил никаких нет. Это плохо, конечно. Нет тому оправдания. А что делать? Пусть он себе представит, что еще не вернулся. Он ведь по ошибке вернулся. Что бы он делал, если бы тогда остался в Африке?

А ночью она дотрагивается до его головы, целует в глаза, пытается обнять его, но тут же засыпает, пока он еще только распаляется.

Ох, уже эти утра, пропитанные дремой и хамсином, это новое одиночество, лишние мысли, лихорадочные поиски пятен на теле. А главное, глубокая тишина, безраздельно господствующая на их улице. Чудно, ни детских голосов, ни живой души. Только очень редко — тарактение машины, заехавшей сюда по ошибке. В такие утра ему кажется, что один только он и остался на всем свете. Когда уж очень становится невмоготу, он натягивает на себя что-нибудь полегче и выходит гулять между двухквартирными домиками, вдоль заборов, прячась по возможности от солнца. Из-за кустов за ним зорко следят кошки, точно он актер, шагающий по пустой сцене на фоне небесной декорации.

Он спасается в небольшой апельсиновой роще, обрывающей их улицу. Жалкий остаток огромной плантации, простирившейся некогда на всю эту местность. И там, меж рядами деревьев, притупляющих свет, он прохаживается по зеленой жаре, от тени к тени, садится наконец на опрокинутый ящик у лужицы, обрамляющей кран без головки, принимает ковырять засохшей веткой рыхлую землю, прокапывает канаву, пускает по ней воду из лужицы, направляет в небольшую впадину, перекрывает ее галькой и строит плотину. Затем строит мост из листьев, встает, растаптывает конструкцию, сматывается домой через старую щель в заборе.

У почтового ящика он задерживается, смотрит на часы, открывает дверцу и снова ее запирает. С тех пор как вернулся из больницы, он частенько крутится вокруг ящика. В предобеденные часы он ежедневно вылавливает оттуда письма, адресованные Тамаре. Тот мальчик, ну паренек, без пяти минут рекрут, Гади, что ли, влюблен, видно, в его дочь и от мук, тоски и надежды пишет ей каждый день письма.

6

А дочь: да, она похудела, вытянулась, похорошела, научилась тренькать на гитаре; однако превратилась и в независимую неряху, увиливает даже из-под его отцовской власти.

Возвращалась она из школы когда попало. Бывало, ему приходилось ждать до четырех. Всегда являлась в полном

изнеможении, но вместе с тем взвинченная и какая-то радостная, один Бог ведал отчего. Сумку она швыряла еще в передней, точно сил не было пронести ее еще метра два, тут же сбрасывала сандалии и босая мчалась к холодильнику, чтобы глотнуть ледяного сока. Потом она набрасывалась на газету, а он тем временем подогревал обед, от которого она чаще всего отнюдь не приходила в восторг, пробовала то, откусывала другое, жевала без всякой охоты, наконец вставала, заявляла, что сыта, хоть не съела и треть; бегала к телефону, чтобы поговорить с девчонками, с которыми только что рассталась. Шепотки, смешки, щекотливые исповеди, пустяки в полном смысле слова.

Когда у нее был урок гитары, она закрывалась в своей комнате, брэнчала с полчаса, затем укатывала на велосипеде.

Когда урока нет, она снимает форму, натягивает легкую блузку, коротенькие шорты, растягивается на диване, обкладывает себя иллюстрированными журналами или погружается в какой-нибудь роман про любовь. Когда он к ней обращается, она отвечает молчанием. Лишь когда вот-вот спустятся сумерки, она вспоминает про уроки, тащит в свою комнату сумку, точно это не школьная сумка, а тяжкий крест, наваливает на тарелку гроздь винограда или вишни, вываливает все книги и тетради на стол, и без того всегда заваленный, теряет то одно, то другое, начинает хандрить.

Успокоившись несколько, она спохватывается, что, в сущности, понятия не имеет, чего хотят от нее учителя. Снова бежит к телефону, длинно выясняет у девчонок.

Возвращается. Некоторое время сидит спокойно, но вот она вскакивает и бежит купить новую тетрадку. С тех пор как он вернулся из больницы, не было ни одного дня, когда бы она не покупала новой тетрадки. Берет несколько монет из денег, валяющихся на буфете (его последняя зарплата в Африке) и возвращается отнюдь не сразу, зато нагруженная добром: плитки шоколада, конфеты, две тающие порции мороженого, вечерняя газета. Нередко случалось, что как раз тетрадку она купить забывала.

Заставляла его присоединиться к "пиршеству", скушать мороженое, полплитки шоколада, конфеты.

Затем они вместе принимались за газету. Молча обменивались страницами.

Тем временем свет пошел на убыль. Небо теряло краски.

Вдруг, без всякой причины, она впадает в панику, бросает газету, вскакивает и бежит в свою комнату.

Начинает она — день за днем — с английского. Срывает виноградину, еще одну, бросает ему через весь дом непонятные слова, требующие комментариев. Слова из стихотворений Байрона, Шелли, Вордсворта, слова из трагедий Шекспира: названия растений, облаков, оттенков цвета, далеких ландшафтов, замков и имена английских лордов.

Слова, о значении которых он не имеет ни малейшего понятия.

Он увिलивает от ответа, требует всю фразу, затем слово буква за буквой. Она охотно идет ему навстречу, все так же громко, через все комнаты. В конце концов вскакивает и он, идет к ней, склоняется над раскрытой книгой, ощупывает глазами трудное слово, читает соответствующую строфу, затем предыдущую, последующую, заглядывает в биографию поэта, всматривается в его портрет, чешет затылок и высказывает предположение, которое, увы, тут же оказывается ошибочным. Он сильно досадует, что так глупо обнаружил свое невежество, пытается идти на попятную.

К черту это все! Для чего ж тогда словари?

Однако словари, выясняется, ввергают Тамару в ужас.

Кончается все тем, что она виснет у него на шее, просит, умоляет, хитрит, ласкается, сажает его на кровать, бежит за газетой, подкладывает ему подушку под голову, протягивает виноград, шоколад, наконец кладет ему на грудь словарь.

"Папочка, родной, поищи!"

Что ж, поищем, делать ведь все равно нечего.

Безработный он...

Во дворе уже начинается темнеть.

Кажется, что все эти стихи — сплошная вереница непонятных слов. Ох, уж эти поэты! В промежутках, покончив с трудной строчкой и прежде чем приняться за следующую, он листает другие учебники, заглядывает в "Географию" —

там как раз про Африку (что они знают про Кению!), в "Анатомию", изучает строение человеческого организма.

Время от времени звонит телефон, Тамара убегает надолго, и лишь его угрозы, что он тут же бросит словарь, возвращают ее к урокам. А бывает, к ней приходят девчонки. Две толстушки вырастают вдруг на пороге, они вошли неслышно, даже не позвонив — дверь-то ведь всегда не заперта, — застают его валяющимся на кровати, со словарем во впадине живота, кругом разбросаны книги, где-то над головой парит вечерняя газета. Они явно смущены, здороваются, участливо спрашивают о его здоровье; ему уже известно, что в тот самый день, когда пришла его телеграмма из Африки, Тамара ревела в классе и даже сообщила учителю и всему классу точный диагноз, тогда возник настоящий переполох, все наперебой выражали ей сочувствие, а на перемене группа ближайших подруг сбилась в углу двора, чтобы поплакать тоже.

"Может быть, вот эти две и плакали", — размышляет он, глядя недвижно, как девочки приподымают чуть-чуть подол платья, чинно садятся, устремляют глаза в пол и вежливо молчат.

Он, расхристанный, с открытой грудью, босыми ногами на подоконнике, улыбается им.

"А интересно, — пришла вдруг мысль, — сказала ли им Тамара, что тревога-то оказалась ложной?"

За раскрытым окном воздух, раскаленный хамсином, шевелит листья. Края штор словно тлеют мягким пурпуром. Ему вспоминается плотина близ Найроби, его душит тоска, сердце готово вырваться наружу. Он вспоминает туземцев, на его лице таинственная улыбка. Там вокруг него толпились тысячи, прорабы просто бегали за ним.

Тамаре не мешает, что он так и остался среди них, слушает их болтовню; те две зато сильно робеют поначалу, но мало-помалу смелеют, забывают о нем и тоже включаются в трепотню, ругают учителей, сплетничают о мальчиках: сначала из их класса, затем и из других, старших, а то и из других школ. Он слушает вяло, ему становится скучно, веки тяжелеют, он начинает дремать, слегка посапывая. Спыхватывается

и видит краем глаза, что ступни его ног куда-то удалились, устремляются в темнеющее небо.

Изредка пытается включиться в беседу тоже, негромко защищает учителей.

Тамара хохочет до упаду, девочки же вежливо поворачиваются к нему и, помогая друг дружке, доказывают, что он неправ: общеизвестно, что все учителя — подонки.

Наконец он встает, выходит на веранду и ждет Рут.

Покончив кое-как с английским, она принимается за другие предметы. Потом — ужин, пустые разговоры, хождения из одной комнаты в другую. Теперь он ждет своего часа, уроков по математике, потому что выяснилось, что Тамара очень-очень слаба в математике. Как видно, многочисленные репетиции к той несчастной постановке устраивались всегда как раз во время уроков математики. А Рут, ее ведь никогда нет дома, вот она и подзапустила это дело.

Оказалось, что она не знает самых элементарных вещей. Они уже проходят уравнения с тремя неизвестными, а она не знает и деления дробей. Было решено поэтому — правда, без всякого энтузиазма со стороны самой Тамары, — что они каждый вечер будут решать примеры и задачи.

Она находила тысячи путей, чтобы уклониться от математики, отодвигала этот час до глубокой ночи. Когда же, покончив с остальными предметами, она после изнурительного хамсина наконец зазывала его к себе, он заставлял ее изнемогающую, рассеянную, неспособную сосредоточиться на чем бы то ни было, умирающую от скуки, засыпающую прямо на ходу.

В комнате — все вверх дном, стол завален книгами, тетрадями, скомканными бумагами, обертками от шоколада, обглоданными виноградными кистями. Фигурка грозного африканского воина лежит там же, поверженная ниц; в настежь открытое окно прет душная ночь, по которой так и траассируют раскаленные звезды.

Он притаскивал из гостиной еще одну лампу, придвигал стулья поближе, соединял контакты, чтобы светлее было, доставал пачку чистой бумаги, линейку, циркуль, готовясь к бою. А она, босая, тоненькая, хрупкая, втягивала головку

в узенькие плечики, нервно кусала ручку, принимала мученический вид, обволакивала себя непроницаемой пеленой тупости.

Эти часы стали для них бездонным источником ссор. Он быстро терял терпение, начинал издеваться над ней, стыдить, а она — ни в зуб ногой, только бунтует, злится, препирается по поводу каждой цифры.

Мало-помалу они проникаются жгучей ненавистью друг к другу.

Бывало, уроки эти кончались истерикой, и тогда Рут, разбитая после изнурительного дня, бежала разнимать их.

"Чистое дитя", — размышлял он, гуляя во дворике этими ночами, обходя деревья, машину, пересекая газончик, до живой изгороди и обратно, поглядывая на гаснущий в соседних домиках — а также в его собственном — свет. Мало ему было этих вечных телефонных звонков, девчонок, шоколада и разбросанных по всему дому газет. Так еще день за днем опускают для нее в почтовый ящик любовные письма. Если бы не его цензура, они бы ее прямо затопили.

Она бы ни за что не разобрала этот мелкий почерк, эти слова и мечты, эти пространные изъяснения в любви. Глядишь, еще и к Рут бы приставала с этими письмами, просила бы совета. А ночью садилась бы сочинять ответы, надписывать конверты, наклеивать марки, а то и сама бы влюбилась. При ее-то бездумии...

Вот ему и приходится скитаться здесь одному, потеть и обмахиваться пылающим веером.

7

Читал он письма Гади прямо на солнце, у почтового ящика, стоя, шелестя ими долго-долго. Затем складывал и прятал в машину, в ящик для инструментов. Ни одно такое письмо не проникло за порог их дома. По ночам, когда ему не спалось, он выходил, бывало, к машине, а там, при свете маленького фонаря, принимался снова листать и перечитывать. Страницы смешались, спутались и числа, потому что этот

влюбленный паренек — а влюблен он был до самой макушки — писал Тамаре день за днем.

Первое письмо он вскрыл по ошибке. Дело было сразу после его выписки из больницы, когда утренняя тишина еще была ему внове. Поврежденный от хамсина и оказавшийся между делом за телефон и бесплатной листовкой муниципалитета попал к нему в руки конверт с военным штампом. Он разорвал конверт, вытащил мелко исписанные страницы и, ничего не понимая, повертел их в руках. Лишь потом он спохватился, что письмо адресовано Тамаре, попытался вложить письмо обратно в конверт, но конверт был разорван, и он не решился его заклеивать. Вместо этого он положил письмо в карман, решив отдать его Рут. Та, однако, вернулась лишь где-то в полночь, а он совсем забыл о письме. Только глубокой ночью вспомнил, когда Рут уже спала. Встал, прочитал и тут же хотел его уничтожить. Потом, однако, передумал и решил спрятать в машине. Ведь письмо могло и вообще не дойти... Да и сама Тамара, пожалуй, только посмеялась бы, получив такое письмо.

Гади это знал и прямо так и писал:

"Ты, верно, удивлена, что я тебе пишу. Смеешься, наверно. Помнишь нашу беседу у забора, когда твой отец нам помешал? Само собой разумеется, что ты можешь мне вовсе не отвечать. А я вот буду тебе писать. Если разобраться, мне даже удобнее так".

И так, день за днем он присылал письма, а отец перехватывал все до единого поздними безмолвными утрами.

Поначалу он лишь с трудом разбирал почерк, потому что Гади, очевидно, писал больше в поле, в короткие перерывы между учениями, подложив вещмешок или каску, на закате, либо при свете луны, или даже одних звезд. Он, однако, быстро привык к этому косому и густому почерку, и его глаза бежали по нему запросто; изредка он даже находил орфографические ошибки — видно, тяжелые выдались учения.

Тема писем — все та же постановка, в которой участвовали они оба; похоже, он сильно к ней привязался на репетициях, из-за которых Тамара теперь не успевает по математике. Что это была за постановка? Тамара что-то бормотала тогда

ночью, когда он приехал, в машине, но он не обратил внимания. Пришлось переспрашивать.

Оказывается, она играла роль любимой девушки одного героя подполья, который бросился под колеса поезда с целью взорвать его. Верно, мура какая-то, Тамара даже фамилию автора не могла вспомнить.

Зато Гади прямо-таки воспевал эту постановку:

"От спектакля остались лишь рожки да ножки, а все равно лично я, ночью в палатке, вспоминаю роли: мою, твою, все. Глубоко они мне запали в душу, никогда мне не забыть".

Время от времени он даже приводил целые цитаты, в подтверждение того, что он не в силах забыть:

"Бегите к вади* и ждите меня там, у большой дамбы. Помните, вы в бою не участвуете... Сидите как можно тише... Чтобы ни звука... Я один буду ждать здесь поезда. И ты тоже, любовь моя, уходи отсюда. Слышишь? Я приказываю оставить меня одного".

Он было попросил у Тамары весь текст, но эта неряха, оказывается, выбросила пьесу, когда выучила свою роль наизусть.

Кроме этого, Гади много писал о военном лагере, нудно описывая своих соседей по палатке, прикидывая в килограммах вес снаряжения, которое ему взваливали на плечи, шуточно жаловался, что у него прямо рана на плече от ремня автомата. Поругивал командира отделения, размышлял просто так. Сплошная болтовня.

Точно он дневник ведет.

Впрочем, он ведь только что сошел со школьной скамьи, никак не может отвыкнуть от писанины.

Изредка, с большим тактом и без обиды, Гади сетовал на ее молчание. Ему казалось, что его письма должны вызвать у нее хоть какой-нибудь отклик. Время от времени он в отчаянии казнил самого себя. "Я тебя ни в чем не виню", — писал он на маленьких военных листках, отдающих ружейным маслом, однако не прекращал многословного своего потока, а только заговаривал о смерти, точно скитается он где-то в тылу врага или где-нибудь на передовой, но, во всяком случае, не на безопасном учебном полигоне, окруженном со

*Вади — овраг, ущелье (арабск.).

всех сторон густыми мирными садами. "В сущности, что плохого в смерти?" — запросто писал этот только что кончивший школу рекрут, стремясь во что бы то ни стало разбить сердце девочки, вовсе его писем не получавшей.

В одном из писем он вспомнил вдруг о ее больном отце и спросил, как он себя чувствует. "Надеюсь, — писал он, — что ему не пришлось опять лечь в больницу".

Именно в этот вечер, за ужином, он подверг ее перекрестному допросу. Рут только рот раскрыла от удивления.

Что это была за постановка? Какую она исполняла роль? Сколько раз ей пришлось выйти на подмостки? Это в каком же смысле "любимая девушка"?

Вяснилось, что в одной из сцен ее должны были по ходу дела обнять, даже поцеловать.

Он ошеломлен.

И чем же дело кончилось?

Тут вмешалась Рут и сказала, что, по ее мнению, сцена получилась как нельзя более естественной — лишнее доказательство, что школьный тот режиссер весьма талантлив. Тамара сильно покраснела, зрачки у нее расширились, и она то ли в шутку, то ли всерьез рассказала, какие у нее из-за этого были трудности на репетициях, как все участники ликовали и как даже она сама не могла удержаться и каждый раз громко хохотала. Прямо в лицо всем.

— А как Гади?

Как только он произнес это имя, за столом воцарилась мертвая тишина. Рут и та была изумлена. Он, что же, знает его — допытывалась Тамара в сильном смущении.

Как же не знать, когда она сама все время говорит о нем!

— Я?.. — удивилась Тамара, начиная постепенно успокаиваться. И после некоторого молчания: — Он, что же, он был в полном порядке. Всегда серьезный такой.

Вот-вот, именно эта его серьезность его и пугает. День за днем, когда солнце поворачивает на запад, он принимает решение уничтожить эти дурацкие письма, однако к вечеру переживает. Еще несколько лет — и Тамара станет взрослой, тогда он ей их и вручит.

Просто для смеха.

Все это дело не стоит выведенного яйца. Если бы он не ходил таким бездельником, разве он бы обратил внимание? А так, он садится бессонными ночами в машину и достает эти письма все снова и снова. Их у него уже порядочная куча.

В конце концов, что с него возьмешь? Парень одинок, влюблен. Все эти словеса — своего рода обман, хоть и не очень большой. "Если бы этот Гади знал, что только я один читаю его письма", — думает он, и у него на душе начинают скреститься кошки.

Чем сильнее хамсин, чем безоблачнее небо, чем нещаднее свет вытесняет воздух, тем мучительнее переживает он историю с этими письмами. Да и сами письма становятся тогда какими-то особенно тяжкими, грустными, даже более короткими.

"От постановки остались одни рожки да ножки", — писал солдат, застреленный где-то на одном из холмов в Негеве.

И вдруг не стало писем.

Хоть он и был уверен, что парня не застрелили нечаянно на учениях, его все же охватило беспокойство. Он устроил возле ящика настоящую засаду, что называется ловил почтальона.

Вот уже несколько дней так.

8

И тут еще его выдавший виды автомобиль, то и дело барахлящая, перегревающаяся, глохнущая на подъемах и по утрам никак не просыпающаяся машина. Уже в ту первую поездку из аэропорта, в ночной тишине, сидя рядом с Рут, он понял, что машина дышит на ладан. Зловещая дрожь в коробке скоростей, скрип в сцеплении, стук в моторе.

Рут решила: надо продать, пока не поздно.

Он ответил: нет, подремонтировать надо. Еще поскрипит. Не оставаться же им без машины. Да вот он сам возьмет и отремонтирует.

С тех пор как он вернулся из больницы, Рут уже не расправляется машиной единолично. Голубыми утрами, залитыми солнцем, он натягивает на себя лохмотья, подходит к застывшей машине, настежь раскрывает все дверцы и капот, а сам лезет под колеса.

Но у него не хватает инструмента.

Поэтому он спускается через каждые несколько дней в гараж и ищет там то, чего ему недостает. Рабочие относятся к нему добродушно. Ведь именно в этом гараже он купил когда-то машину, и, хотя с тех пор прошло много лет, он все время говорил им не то в шутку, не то всерьез: за исправность машины отвечаете вы. Чего уж там, сложные взаимоотношения.

Появляется он обычно в обеденный перерыв, когда все, пряча глаза от солнца, смотрят долу. Въезжает на малой скорости, ставит машину в заброшенном углу двора, вразвалку заходит в темноватую мастерскую — свободного времени у него хоть отбавляй, — ходит от одного механика к другому, от станка к станку, смотрит, склоняется тут и там над обнаженным каким-нибудь двигателем и походя подбирает себе то, что ему нужно. Затем, делая большой крюк, возвращается к машине, не спеша демонтирует, скажем, динамо, волочит его в темный угол и разбирает его на части.

Он тут свой человек. Механики относятся к нему снисходительно. Сам хозяин, старый механик, у которого масса дел и поэтому его почти никогда нет в гараже, подошел к нему в один из первых его наездов, тепло пожал ему руку, даже выслушал небольшой рассказ про восточную Африку и с тех пор больше не подходит, не мешает, ни о чем не спрашивает.

Время от времени он заходит в тупик, подзывает одного из механиков, просит прослушать мотор, нажать на педаль, на кнопку. Те охотно помогают, но всегда добавляют при этом, что машина вот-вот вся развалится, лучше сбыть ее с рук, пока не поздно.

Он раздраженно отвечает, что все это он знает и сам. Впрочем, сколько за нее могут дать?

Низкая цена, которую они неизменно называют, поражает его каждый раз снова.

За то, что он возится в гараже, с него денег не берут, лишь изредка ему приходится заплатить за какой-нибудь болтик, за трубку. Иной раз, в обеденный перерыв, когда мастерская пустеет, он договаривается с одним из учеников остаться с ним. И вместе в притихшем помещении они поднимают маши-

ну одним из кранов и проверяют карданную передачу, шасси или что-нибудь еще.

Мальчик всегда торопится высказать свое мнение, показать, какой он специалист. Он слушает молча, ничего не отвечает. В эти тихие часы ему даже удавалось порой проникнуть во внутренности двигателя, к литой, отдающей прохладой стали.

Потом он отказался от услуг мальчика. Приезжал точно к началу перерыва, надевал серый фартук и принимался за работу. Он вынашивал в уме грандиозный план: разобрать в этот хамсин всю машину на части и снова ее собрать.

Но сегодня, когда он возился в замасленном углу притихшего помещения с каким-то болтиком, на его плечо опустилась увесистая рука, и сам хозяин, благодушный, спокойный, никуда не спешащий, отечески обнял его за плечи и участливо спросил:

— Барахлит, а?

И инженер грустно кивает головой, выпускает из рук инструмент. К его изумлению, хозяин предлагает ему сделать вместе небольшой тур на машине, чтобы он лично мог установить, что там неладно.

Хозяин сел за руль, он — рядом, машина тронулась. Едут очень-очень тихо, хозяин правит одной рукой, уверенно, словно не машина у него в руках, а игрушка. Он думал, что они объедут две-три ближайших улицы и тут же вернутся, но хозяин, видно, не такой имел в виду тур, он берет курс на автостраду, врывается в раскаленный полдень, едет прямо на солнечный шар, в направлении моря. Поначалу они молчали оба, прислушивались к мотору. Первым заговорил хозяин. Говорил все больше про Рут:

— Узлы в порядке. Я видывал машины и постарше, а ничего — едут. Но когда машина доживает до таких лет, у ней появляется свой характер, особый. Капризы всякие, заскоки. Скажем, какая-то скорость "упирается", и, чтобы ее включить, нужно взять чуть-чуть вбок. Ничего страшного в этом нет, просто водитель должен считаться с этим и проявить снисхождение. Вы инженер и, конечно, понимаете, что я имею в виду. А вот ваша жена, хабиби,* лихачила так, словно сидела

* Хабиби — дорогой (просторечие).

за рулем "Ягуара" самого последнего выпуска. Сказать по правде, ездила дико, прямо как сумасшедшая. Вы простите, я имею в виду не пешеходов, это меня не касается. Мое дело машина, а она страдала, бедняга. Нажмет, бывало, на газ одним махом и до отказа, — машину, понятно, и рвало. Каждые две недели приходилось чистить ей карбюратор, а кто виноват? Я же или ремонтники. Я лично взял ее как-то за ногу, показал, как нужно нажимать. Даже тufель ей снял, осторожно положил ступню на педаль, чтобы почувствовала правильное нажатие. Бесполезно. Тут все дело в рефлексх. А у меня просто сил нет спорить с бабами. Тем более что она, кажется, вовсе и не поняла мое намерение. Ей лишь бы поспорить, все они так. В машине не понимает ни бельмеса, даже колесо сменить не умеет. Вы меня простите, я не для того, чтобы наговаривать...

— Ничего, ничего. Продолжайте...

— Понимаете, каждые две недели или около этого она ставила машину на ремонт. Я говорю не о деньгах, это ваше дело. Но сколько хлопот, все эти телефоны, поломки в пути. А ведь не всегда машина виновата. Поломки какие-то странные, то заедает сцепление, никак не разнимается. В особенности зимой, в холод. Сколько раз мне приходилось посылать ремонтников на выручку, по ночам я и сам ездил с буксиром. Вот даже мой домашний телефон мы ей нацарапали на баранке... чтобы не искала...

Он смотрит и видит — точно, какие-то маленькие цифры выцарапаны на тыльной стороне руля. Ему становится тоскливо.

— Разве не рассказала? Видно, постеснялась. А ведь пришлось выручать даже глубокой ночью.

— Глубокой ночью? — шепчет он пораженный, глядя на море, которое вдруг замаячило перед ними.

— Один раз, уже в третьем часу утра, она позвонила — застряла, мол, на полпути к Иерусалиму. Нашел на обочине, сидит в машине и дрожит от холода. Говорит, никому другому она бы в такой час не позвонила, а вот мне — доверяет. Спасибо, говорю, беру ее на буксир и волоку в гараж. Еще и домой пришлось отвезти. Несколько недель я тогда даже спать

не ложился, не удостоверившись, что хватает бензина в баке. В полной, так сказать, боевой готовности... ха-ха, начеку. Вот только что не спал одетый... ха-ха-ха, обутый... ха-ха-ха. Говорю жене: вот она, причина, по которой я никогда в жизни не доверю тебе руля. Чтобы не попадала в такие ситуации...

Учащенно бьется сердце, глаза заливают пот, он чувствует головокружение. Вдруг ему начинает казаться, что откуда-то из глубин его тела пробиваются старые те боли. Вид морской глади и ее приторная синева раздражают его, вызывают в нем тошноту.

Он улыбается.

Хозяин в полнейшем благодушии сворачивает на пустынную боковую дорогу, идущую вдоль берега, нажимает на газ, точно юноша, радующийся первой своей езде. Вдруг он соскальзывает на боковой спуск, очень крутой, едет прямо к морю, опять сворачивает и пускает машину вдоль берега, у самой воды. Петляет, перекидывает баранку из одной руки в другую, точно пьяный, но продолжает болтать глупости: про своенравие женщин и машин, доставлявших ему большие хлопоты. Наконец бросает машину в сторону воды, прямо на волны, резко тормозит, дает задний ход, делает большой крюк и едет назад по оставленным следам. Поднимается по крутому склону, машина кряхтит от усилия, как-то даже странно рыдает, но все-таки слушается механика, умолкшего, но спокойствия не теряющего, берет подъем одним рывком. И снова они на асфальте. Дорога назад показалась ему почему-то более короткой.

Механик умолк, правит, погруженный в мысли, немножко прибавляет скорость, чтобы сократить обратную дорогу. Он по-прежнему сидит рядом, вонзает взгляд в раскаленный воздух, как-то искривляющий шоссе.

Он уже успокоился.

Даже подумал — не рассказать ли что-нибудь про Африку?

Робко достал из ящика для инструмента, из-под его сиденья несколько страниц из писем Гади, пробегаёт глазами знакомые строчки.

Когда они вернулись в гараж, работа уже шла вовсю, во дворе галдели рабочие и клиенты. Хозяин затоомозил у во-

рот, молча вышел и велел одному из подростков, тут же прибежавшему, подкрутить какой-то винт, затем повернулся к инженеру, улыбнулся ему и несколько рассеянно обронил:

— Вы сами видели. Машина в порядке. То-то же я все время толкую: все зависит от того, кто водитель... Оставьте ее в покое. Не надо копаться в ней каждый день. Она еще порядочно вам послужит. Только жену держите подальше...

И вдруг протягивает ему руку, пожимает на прощанье, исчезает в гараже. А он, оставшись, стоит ошеломленный, даже поблагодарить забыл.

Окончание в следующем номере.

Перевел с иврита М. Ледер.

ГЕНРИХ Ш А Х Н О В И Ч

"СОЛО НА БАРАБАНЕ"

РАССКАЗЫ, ЮМОРЕСКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ

СКАЗКИ И БАСНИ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Книга выходит в свет в ближайшее время.

"Ген рих Шахнович умеет подмечать смешное. Иногда и несмешное. Даже грустное. А грустное главное потому, что оно не прошло, оно еще есть".

(Из предисловия Виктора Некрасова.)

Роман КАПЛАН

НАША АРМЯНСКАЯ КРОВЬ

ИЛИ ПРОЗА НИ О ЧЕМ

НАШИ БОГАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Господи! Моя бедная голова! Она просто трещала по швам. Во рту пересохло, и язык чувствовал себя там, как нежеланный гость. Будильник на книжной полке, давно испорченный и облупившийся, был глух и нем, но телефон на полу у кровати надрывно звонил, требуя ответа.

— Какого черта! — проворчал я, потянувшись к трубке.

В комнате было темно и холодно, окна замерзли и были похожи на абстрактные картины буржуазных художников. Черные лики святых неодобрительно глазели на меня с развешенных по стенам икон. Часы показывали без четверти шесть.

— Алло, — сказал я. Конечно же это был Арам. Я мог бы и не спрашивать. Кто еще может разбудить человека посреди ночи, кроме моего сумасшедшего друга из солнечной Армении.

— Генаг хаши утело, — сказал он, что в переводе с армянского значит: "Пойдем есть хаши".

Хаши — это такой армянский суп, который едят рано утром, и по вкусу он напоминает холодец, только горячий.



После порции хаши, особенно после попойки, чувствуешь себя как бы вновь рожденным. Готовят его из коровьих копыт и, по утверждению Арама, часов двадцать—двадцать пять, но, поскольку он всегда все преувеличивает, думаю, что меньше, но это не важно. В Москве был только один ресторан "Арапат", в котором подавали хаши, да и то только по воскресеньям. Шеф-повар там был армянин по имени Хачик, один из друзей Арама. Вообще все армяне, как в России, так и за границей, были его закадычными приятелями. Микоян был его другом, Сарьян был его другом, Сароян был его приятелем, не говоря уже об Азнавуряне, который был его другом детства. Если он читал книгу и там не было ни одного армянина, он отбрасывал ее в сторону. В кино он тщательно изучал состав исполнителей и съемочную группу, и если среди них не было армян, то даже если это был самый гениальный фильм, Арам терял к нему интерес. Его любимая книга была "Уловка 22", и он знал ее наизусть. Раз он принес ее ко мне и не оставил меня в покое, пока я не прочитал ее.

— Не могу сказать, что бы я был от нее в таком восторге, — сказал я. — Кроме того, Иосариян — еврей.

— Сам ты еврей! — закричал Арам, и, поскольку это действительно так, я не стал с ним спорить. Он был абсолютно убежден, что Геллер был когда-то Геллерян и что он сократил свою фамилию, как это сделал Азнавур. В общем, Арам полностью помешался на своих армянах.

Он дал мне десять минут на сборы и сказал, чтобы я ждал его внизу. Раз уж я проснулся, мне было все равно. К тому же, я знал, что хаши вылечит вчерашнее похмелье.

Мы с Арамом дружим уже массу лет. Не помню точно, где мы познакомились, но точно помню наш первый разговор.

— Ты армянин? — спросил он.

— Нет, я еврей, — ответил я.

— Не может быть, — он отошел в сторону, оглядел меня с головы до ног и подошел снова. — Ну, а армянская кровь в тебе есть?

— Боюсь, что только еврейская, — ответил я.

Но Арам не отставал: — Да брось ты, не может быть. Или, может, ты стесняешься? Ты кажешься симпатичным малым. У всех симпатичных людей есть немного армянской крови. Иногда они сами об этом не подозревают. Ну скажи, могла твоя бабка, например, переспать с армянином?

Так как я со своей бабкой никогда не встречался, я, конечно, не мог поручиться.

— Да ты только посмотри на свои грустные армянские глаза. А этот нос? Посмотри на свой нос. Такой армянский нос днем с огнем не сыскать!

Мне вся эта армянская чушь надоела.

— Послушай, Арам, — сказал я, — я знаю, что у меня большой еврейский нос и обыкновенные еврейские глаза. А кроме всего прочего, это же не у армян глаза грустные, а у евреев. Слышал когда-нибудь, чтобы сказали: "У него в глазах вся армянская грусть"?

— Ладно, ладно, пусть будет еврейская, я ничего не сказал, ты ничего не слышал. В общем-то, это все равно, армянские, еврейские, важно только, что мы с тобой — национальные меньшинства. Поэтому армяне должны горой стоять за евреев, а евреи за армян. Понял?

Я не очень-то понял и сказал ему об этом.

— Знаешь анекдот про умирающего армянина?

— Нет.

— Ну тогда слушай. Значит, умирает армянин, вся семья вокруг него, плачут. Он им и говорит: "Берегите евреев!" Они, конечно, ничего не понимают. Какие евреи? При чем тут евреи! А он снова: "Берегите евреев". Они все его и спрашивают. "Почему?" А он и говорит: "Когда покончат с евреями, возьмутся за армян".

В ванной, осторожно поднося щетку ко рту, я чистил зубы, морщился от головной боли и вспоминал первый анекдот Арама. Я посмотрел на часы. Десять минут прошли. Я надел старое тяжелое пальто и спустился вниз. Стужа была адская, с ветром, а я еще и перчатки забыл в спешке. Я засунул руки в карманы, но это не помогло. В конце концов пришлось зайти в парадное и греться у парового. Потом я снова вышел. А такси с Арамом все не было. У соседнего подъез-

да дворник в сером армейском ватнике посыпал тротуар солью и все время подозрительно оглядывал меня. Что это за странный бородатый тип, то появится, то скроется. Наконец, когда я уже совсем закоченел, Арам подъехал.

— Десять минут, — проворчал я, — обалдел, что ли?

— Извини, старик, как назло ни одной машины, потом нашел шефа, но он спал, еле добудился. — Посмотрев на меня внимательно, он осклабился: — Я смотрю, тебе сейчас в самый раз съесть порцию хаши. Где надрался?

— У Феликса, — ответил я.

— А-а, — Арам покачал головой.

Как и все в Москве, он знал Феликса. Арам постоянно старался убедить меня, что тот армянин. Другие убеждали меня в том, что он стукач и работает на ГБ. Я же точно знал, что он русский и хороший, добрый парень. В России все чокнулись на стукачах и демократах. Если ты не демократ — значит, ты стукач. Ничего посерединке быть не может. Раз один знакомый поэт зазвал меня на какое-то сборище. Когда мы пришли, в комнате было человек двадцать и лишь одна симпатичная девушка.

— Видишь этого типа в кресле? — спросил мой друг-поэт. — Он стукач, — поэт нервно оглядывался по сторонам. — А этот, ну, видишь, с трубкой... — у окна стоял высокий длинноволосый человек и курил трубку, — он тоже стукач.

Если верить моему знакомому поэту, то все на этом сборище были стукачами, даже симпатичная девушка, понравившаяся мне сначала. Я даже попытался с ней заговорить, но поэт оттащил меня:

— Ты что, с ума сошел?! Хочешь, чтобы на тебя тоже завели досье? — он почти силой увел меня.

Феликс работал в американском посольстве, и этого было достаточно, чтобы отнести его в разряд стукачей. Хотя этот факт не мешал многим, кто считал его доносчиком, приходить к нему домой, пить его виски и слушать новые американские пластинки. Публика у него собиралась разношерстная, но всегда были милые барышни, и тогда публика не имела для нас никакого значения.

— Со щитом или на щите? — спросил Арам.

Так мы спрашивали друг у друга каждый раз, когда один из нас проводил вечер с девушкой.

— Не видишь, что ли? — сказал я. — Сначала все было нормально, потом я так и не понял. Вдруг встала и ушла, ничего не объясняя, даже и не попрощалась. Ну, я взял и напился.

Арам, сидя на переднем сиденье, хихикал, потирая руки. В машине было тепло и пахло войлоком и потом, как в деревенской избе, и, когда мы подъехали к "Арарату", мне не хотелось выходить. Арам заплатил водителю, и мы побежали по снегу к двери ресторана. Несмотря на ранний час, около ресторана стояло полно машин, и все столики внутри были заняты. Большинство посетителей были мужчины, Арам называл их "хашистами" или "хашмэнами", и, естественно, они все оказались его друзьями. Было там несколько женщин, осоловевших от сна, шума и вина. Арам попал в свою стихию. Он останавливался у каждого столика, целовался, пожимал руки, улыбался, скаля зубы, хлопывал своих друзей по спине, знакомил меня с теми, кого я еще не знал, и ликуя говорил по-армянски. То здесь, то там мелькало знакомое лицо. В правом дальнем углу за маленьким столиком сидел Ермолаев, известный советский киноартист, которого я немного знал. На столе перед ним стояла бутылка водки, и он сидел, изучая ее. У него было хорошее сильное лицо, несколько угловатое, но мужское, из тех, что всегда так нравятся женщинам. Да и глаза еще были ничего, довольно выразительные, правда, помутневшие и несколько остекленевшие от чрезмерного употребления алкоголя. Все знали, что от него ушла жена, и у него был период запоя. Ходили слухи, что она и ушла-то из-за его запоев, но точно я ничего не знал. Мы с Арамом встретили его в бане пару дней назад. Мы искали бочковое пиво, и кто-то сказал, что пил недавно в Чернышевских банях. Ну, пришли мы в бани, а нам говорят: "Хотите пиво — покупайте входной билет". Хитро, но ничего не поделаешь. Купили мы один на-двоих и я вошел внутрь. Когда я передавал Араму его кружку, он дал мне еще тридцать копеек и попросил еще одну. "Для Ермолаева"

ва", — сказал он шепотом. Когда п вышел на лестницу с кружкой пива для Ермолаева в одной руке и своей в другой, какие-то работяги ругались с банным начальством. Они резонно объясняли что, поскольку они пьют в среднем семь-восемь кружек в день, покупать восемь билетов в баню и не использовать ни одного — слишком накладно. Ермолаев поддержал рабочих, и, хотя он был уже пьян и руки у него дрожали, проливая пиво на ступеньки лестницы, директор бани узнал его и пропустил рабочий класс бесплатно.

На Ермолаеве было старое пальто поверх полосатой пижамы, он надсадно кашлял, и лицо его было красным от напряжения и склеротических прожилок. Мне стало жаль его. Я оставил Арама разговаривать с обезьяноподобным волосатым армянином и пошел сказать "здрасьте" Ермолаеву. Он сидел неподвижно, уставившись на бутылку, но, увидев меня, показал на стул. Он налил мне полный стакан, потом себе, молча и торжественно, как будто воспроизводя сцену из сыгранного им кинофильма, отвел локоть в сторону и, запрокинув голову, стал пить. Мой рот был сух, как пустыня Гоби, голова по-прежнему трещала, и я тоже выпил. Кроме бутылки и стаканов, на столе ничего не было, и я спросил Ермолаева, заказал ли он чего-нибудь. Он не ответил. Казалось, он и не слышал вопроса. Так и сидел, глядя перед собой невидящими глазами.

Арам разговаривал с Хачиком, когда я подошел. Мы поговорились, и Хачик отвел нас к столику с надписью "стол заказан", отделенному от зала бамбуковой перегородкой. Он улыбался, хихикая, и моргал, и производил какие-то странные движения руками и ногами, и вдруг на столе появилась бутылка "Столичной". Я неосторожно засмеялся и тут же схватился за голову. Каждое резкое движение все еще вызывало боль. Мы сели за стол, и тут же к нам подошла симпатичная девушка с подносом закусок.

— Это Галя, — сказал Хачик. — Если захотите чего-нибудь — только скажите.

Мы хотели выпить с ним по глоточку, но Хачик отказался.

— У меня в кабинете сидит один деятель из Еревана, — сказал он, — так что я еще успею. Хаши сегодня — пальчики оближешь, — он облизал свои пальцы и исчез.

Водка, выпитая с Ермолаевым, начала оказывать свое действие. Мне было тепло, уютно и лениво. Мне нравился наш маленький отдельный столик, свежеспеченный армянский хлеб, холодная пузыристая минеральная вода "Нарзан" и все "хашисты" земного шара. Мой чокнутый армянский друг Арам с серьезной миной намазывал аджику на огромных размеров сэндвич. Кончив, он налил себе стакан водки, подмигнул мне, выпил, крикнул и запил водку минеральной водой.

— А мне чего не налил? — спросил я.

— Тебе пока хватит. Думаешь, я не видел, как ты засадил стакан? И нечего смотреть на меня с обидой, лучше съешь что-нибудь. Попробуй мой сэндвич, только не весь, кусочек, а понравится — сделай сам.

Я откусил от его бутерброда и чуть не поперхнулся. Аджика обожгла мне рот.

— Армяшка несчастный! Ты что, отравить меня хочешь? — закричал я.

Арам откинулся на спинку стула и захохотал.

— Посмотрите на него, — сказал он. — Этот человек имеет наглость называть себя евреем. Да какой еврей сидит в ресторане в шесть часов утра и глушит водку стаканами? Знаете вы таких евреев? Лично я не знаю.

— Послушай, Арам, — сказал я, — может, ты заткнешься? Что это у тебя с рукой?

— С какой рукой? — спросил Арам.

— С правой, — сказал я.

— Ничего, рука как рука, а что?

— Не болит? — спросил я озабоченно.

— Нет, — ответил он, странно глядя на меня.

— Ну, тогда наливай, — сказал я.

Арам взял бутылку и разлил.

— Борька, а Борька. Ты уверен, что в тебе нет армянской крови?

Я точно знал, что раз Арам заговорил об армянской крови, за этим должен последовать анекдот или типично армянская история. Слишком уж много лет мы были с ним знакомы, чтобы я ошибся. Арам сидел, перелистывая свою толстенную записную книжку, исписанную мелким неразборчивым почерком. Я не хотел ему мешать и смотрел по сторонам. За одним из столиков парень в очках стал играть на гитаре. Пока до меня дошло, что он играет, весь зал запел. Некоторые повставали с мест, другие пели сидя, но не было ни одного, кто бы не пел. Я не знал слов, потому что не знал армянского, но я знал мелодию старого армянского национального гимна, теперь запрещенного в СССР. Плавная торжественная мелодия неслась над столами, напоминая о днях, когда Армения была свободной. Я увидел моего знакомого актера, который пел стоя, перевирая слова и коверкая мелодию, но он пел, и на лице его было осмысленное выражение. Арам повернулся ко мне.

— Ну так как же насчет армянской крови? — иронически спросил он.

— Ой, заткнись же ты наконец, — сказал я.

— Хорошо, я заткнусь, если ты внимательно согласишься на эту фотографию.

Он протянул мне фотографию пожилого господина с бородой, вырезанную из какого-то иностранного журнала. Господин был прекрасно одет, в полосатом двубортном костюме с бабочкой. Он был в цилиндре и опирался на блестящую трость. Его седая борода была аккуратно подстрижена, и его глаза улыбались мне с фотографии. Что-то в этой фотографии мне показалось знакомым, но, как я ни старался, я не мог сказать что именно.

— Сдаюсь, — сказал я. — Кто это?

— Это Нубар Саркис Гульбенкян, — сказал Арам.

— А кто такой этот Гульбенкян? — спросил я.

— Ты что, серьезно? Ты не знаешь кто такой Нубар Саркис Гульбенкян?

— Представь себе, что не знаю. Прости мое невежество. Правда, кое-что я могу тебе сказать. Судя по фамилии и имени, он армянин. Неплохо, не правда ли?

— О Господи, какой же ты болван, — застонал Арам. — Ну конечно же он армянин. Да разве я стал бы о нем говорить, если бы он не был армянином? И имя армянское, и фамилия армянская, и похож на армянина!

— Прекрасно, прекрасно, — сказал я, — но вся эта армянская дребедень для меня все равно, что китайская грамота.

— Так слушай, — сказал Арам торжественно, — я расскажу тебе о Нубаре Саркисе Гульбенкяне. Он один из самых богатых людей в мире. Один из нефтяных королей. Если бы ты читал газеты, то знал бы хотя бы это. Но я всегда говорил и снова повторяю, что меня окружают бескультурные жлобы, лишенные малейшего любопытства. Только армяне еще ничего, а остальные, включая евреев, — это стадо серых неотесанных мещан. Если их еще что-то и интересует, так это только материальная сторона жизни.

— Если бы меня интересовала, как ты говоришь, материальная сторона жизни, я не думал бы сейчас, как мы оплатим наш счет, — прервал его я.

— Пусть вас не волнуют этих глупостей, Боря, когда вы сидите за столом с интеллигентным и изобретательным армянином, — Арам улыбнулся, обнажив два ряда белоснежных хищных зубов, и протянул мне фотографию: — Ну, еще раз, неужели же сходство не очевидно?

Я не находил никакого сходства и не видел ничего очевидного.

— Ну и болван же у меня приятель, — сказал Арам в сердцах. — Да вы же с ним похожи как родные братья, разница только в возрасте.

Я снова посмотрел на фотографию. Когда вначале она показалась мне знакомой, я никак не мог предположить, что смотрю на своего двойника. Сходство было поразительное, с фотографии на меня смотрел я в возрасте семидесяти лет; если только я когда-нибудь доживу до семидесяти. Тот же крупный нос, тот же разрез глаз, аккуратные маленькие уши и даже та же форма бороды. Все это было так неправдоподобно, что я захохотал.

— Чего ты ржешь? — сказал Арам. — Что тебя так рассмешило?

— Разве не смешно, что мы с тобой сидим здесь и думаем, как достать пару рублей заплатить по счету, а где-то там живет мой двойник, который один из самых богатых людей мира?

— А почему ты думаешь, я тебя все время спрашиваю есть в тебе армянская кровь или нет? Может, это твой родственник, дядя там какой или двоюродный дедушка. Степень родства не имеет никакого значения при таком сходстве.

— А где он живет? — спросил я.

— Он жил в Лондоне, — сказал Арам.

— А теперь?

— Мне очень жаль разочаровывать тебя, но теперь он живет на том свете.

— А я уж совсем был готов поверить, что во мне действительно течет армянская кровь. Мое еврейское счастье! Что ж, давай выпьем за Нубара Саркиса Гульбенкяна, и пусть земля ему будет пухом.

Мы снова наполнили стаканы и выпили. Галя принесла и поставила перед нами дымящиеся тарелки хаши, жирные, наперченные, обильно сдобренные чесноком. Пока хаши остывали, Арам рассказал мне историю самого дорогого цыпленка в мире. Это история про Нубара Гульбенкяна и его прижимистого отца. Старик начал с ерунды, а стал миллионером. Он знал цену деньгам и держал сына в черном теле. Даже денег на карманные расходы не давал. А сыночку уже было за сорок. Правда, старик оплачивал счета сына. Но не все. И началась-то вся эта история из-за одного чека. Чек был на семь долларов, которые Нубар заплатил за цыпленка. Старик отец был в страшном гневе. Какая экстравагантность! Платить семь долларов за одного цыпленка! Этот чек он ни за что не оплатит. Короче, цыпленок стал яблоком раздора в судебном препирательстве отца и сына. Отец проиграл процесс и кроме месячного содержания сыну должен был уплатить тысячи долларов судебных издержек.

Мы ели хаши, дымящееся пахучее блюдо, выпивали со знакомыми и друзьями Арама и пошучивали. Наевшись, мы отвалились от стола и закурили. В зале было тепло и дымно, пахло водкой, табаком, чесноком и потом. Хотелось спать

и было лень разговаривать. За соседним столом кто-то лениво ссорился, несколько человек подошли попрощаться, и кто-то касался моей руки мокрыми от пота руками.

— Ну хорошо, твой дядя или кем он там тебе был умер. Жаль, конечно, но что поделаешь? Даже очень жаль, потому что он был одним из самых богатых в мире людей. Поэтому оставь надежду. Но мой дядя, слава Богу, еще жив. И он не один из, а самый богатый человек в мире.

Я открыл глаза и с удивлением посмотрел на Арама. По моему мнению, по одной байке в день вполне достаточно. Но начало новой истории было уж больно многообещающим.

— А как его фамилия? — спросил я иронически.

— Так же, как и моя, — ответил Арам. — Какая у меня фамилия?

— Армянская, — сказал я.

— Смеется тот, кто смеется последним, — сердито сказал Арам.

— Я не смеюсь. Твоя фамилия Сассикян, но я не знаю ни одного Сассикяна, который был бы просто богат, не говоря уж о том, чтобы быть самым богатым человеком в мире. И для этого я не должен читать газет или обладать большим воображением.

— Ну, а как насчет Онассиса?

— Как насчет Онассиса? Насчет Онассиса все очень просто. Он Онассис, а не Сассикян. Кроме того, он грек, а не армянин.

Арам поглядел на меня и покачал головой. Его армянские миндалевидные глаза смотрели с жалостью и состраданием. Как если бы я был безнадежно болен и он должен был сказать мне, что моя болезнь неизлечима.

— Помнишь моего отца? — спросил Арам.

Отец Арама, в прошлом боевой советский генерал, умер четыре года назад, но я хорошо его знал и, естественно, помнил.

— Я рассказывал тебе когда-нибудь, что у моего отца был брат?

— Нет, Арам, ты никогда не рассказывал мне историю твоей семьи, — сказал я.

— Так вот. У моего отца был брат за границей. Пока отец был жив, мы это скрывали. Как ты думаешь, что бы они сделали, если бы узнали, что у одного из их доблестных генералов есть брат капиталист и эксплуататор?

— Онассис не эксплуататор, — сказал я.

Я хотел добавить, что читал про смерть Онассиса в каком-то журнале, но мне было интересно, что будет дальше. Я, правда, ухмыльнулся в бороду, но промолчал.

— Чего ты ухмыляешься?! — взревел Арам. — Не хочешь слушать историю про моего дядю? Так и скажи.

— Да нет, это должно быть, замечательная история, только давай сперва выпьем. Племянники, у которых такие дяди, конечно же могут себе позволить еще по рюмочке, — сказал я и пошел искать Галю.

Она завтракала на кухне, но, увидев меня, поднялась и принесла нам по сто грамм водки.

— Я сказал тебе, что у моего отца был брат, — продолжал Арам. — Его звали Оник. Это очень распространенное армянское имя. Семья моего отца была из Еревана, но тогда она жила в Ростове. Там есть армянский район, Нахичевань, и там мой дед торговал чаем. Отец с Оником помогали ему в лавке. Отцу исполнилось девятнадцать в то время, а Онику семнадцать. Это было время гражданской войны, и никто не знал толком, что будет и кто победит. Суматоха в Ростове царил жуткая. Отца забрали красные, и он редко бывал дома. Но как-то он приехал по делам своего полка, и они договорились встретиться с Оником вечером в местной кофейне. Но вышло так, что им не суждено было встретиться больше никогда. Вечером в тот день белая кавалерия атаковала Ростов, и красные поспешно отступили. Вместе с ними ушел мой отец, иначе его бы непременно убили, так как он был в красной гимнастерке. Оник ждал его и ждал, но, когда он понял, что отец не придет, он встал и пошел домой. Белые объявили комендантский час, но Оник не знал об этом, так как просидел в кофейне. Когда он возвращался домой, его арестовал белый патруль. Он был крепкий парнишка, не такой высокий, как отец, но выглядел старше своих лет. Белый офицер, который допрашивал Оника, совсем было

отпустил его домой, но потом передумал и решил, что его место среди подлинных защитников родины — в белой армии. Так война разъединила двух братьев. Позже, когда белые отступали, Оник был с ними, с ними же он бежал в Турцию. Он был смысленный малый, и, кроме того, дома он помогал отцу торговать. Он занялся торговлей табаком, но никак не мог смириться с жизнью в Турции. Очень уж он ненавидел турок за армянские погромы. Он решил перебраться в Грецию. И вот тут-то, в Греции, он поменял фамилию. Оник Сассикян стал Онассисом. Остальное ты знаешь и без меня. В Греции он стал покупать корабли, потом перебрался в Аргентину, потом женился на Жаклин Кеннеди...

— Интересно, сказал ли он Жаклин, что он армянин? — спросил я.

— Какое это имеет значение? Армянин, грек, главное, что не турок. Когда у тебя так много денег, кто смотрит на твою национальность? А кроме того, он мой дядя, а у нас в семье все мужчины в большом порядке.

Я снова хотел было сказать Араму о смерти Онассиса, но почему-то удержался. Рассказав мне историю своей семьи, он погрустнел. Вместо этого я сказал:

— Хорошо, когда есть богатые родственники за границей, можно поехать посмотреть мир, попутешествовать, купить хорошие шмотки.

— Да, неплохо, — сказал Арам. Он посмотрел на часы. Рукава его рубашки пообтрепались, и он заметил, что я смотрю на них. — Пойдем отсюда к чертям, — сказал он, — надоело.

Два бедных родственника самых богатых людей в мире с большим трудом наскребли денег, чтобы заплатить по счету. В передней, когда мы надевали пальто, Арам сказал:

— Не стоило тебе заказывать последние двести грамм, теперь придется ехать домой на метро.

На улице было холодно, но не сравнить с утром. Светило солнце, и снег из белого превратился в бурый. Засунув руки в карманы, мы молча шли по Пушкинской.

— Куда, — спросил Арам у входа в «метро на площади Свердлова».

— Все равно, — сказал я. — Лучше к тебе. У тебя еще есть полбутылки вина, которое я принес в прошлый раз. Можно послать немного, а потом позвонить каким-нибудь девочкам. Или Федоровскому. Он звонил мне вчера и предлагал сыграть в покер.

— Но у нас нет денег играть в покер, — резонно заметил Арам.

— Не страшно, — сказал я. — Если мы выиграем — значит, выиграем, а если проиграем — всегда можно дать чек. А по чекам уж будут платить наши богатые заграничные дяди.

НАШИ КВАРТИРНЫЕ ДЕЛА

Я вернулся в мастерскую в отличном настроении: "Советский Спорт" наконец заплатил мне деньги за "хоккейные карикатуры", и в кармане у меня лежали двести сорок рублей. Мое хорошее настроение, правда, быстро испарилось. На дверях мастерской висела записка от Воронцова: "Вернулся. Развелся. Нужна хата".

Расстроился я ужасно. Не потому, что он развелся с третьей по счету женой, а потому, что это означало, что мне надо срочно искать квартиру.

Я позвонил Араму. Я знал, что он занят и что мы договорились на позже, но дело было неотложное, и я решил: ничего с ним не случится, если оторвется на несколько минут ради товарища. Он писал рассказ про пиратов для детского журнала "Пионер", редактором которого был наш друг. Всегда, когда мы оказывались на мели, он подкидывал какую-нибудь халтуру.

Арам писал текст, а я делал иллюстрации. Денег, правда, не ахти, но так как работу мы делали левой ногой, обижаться не приходилось. Мы договорились встретиться ровно в двенадцать в кафе "Снежинка" на Пушкинской площади.

Хотя Арам жил дверь в дверь с кафе, — когда я подъехал с Белорусского, его еще не было.

Я пил кофе, поглядывал на часы в ожидании этого армянского кретина и наблюдал за миловидной девушкой, которая сидела у окна за несколько столиков от меня. Я раздумывал, подойти или нет, потом решил, что лучше нет. Во-первых, вдвоем у нас лучше получалось, во-вторых, я был удручен предстоящими поисками квартиры. В данной ситуации это было гораздо важнее. Ведь девушек надо куда-то приводить.

Потом я увидел, что не один я люблюсь посетительницей кафе. За окном, на улице Горького, стоял Левка Алексеев, фотокорреспондент из АПН, весь увешанный камерами, и пожирал девушку глазами. Большого пижона и показушника не видывал свет. У него была своя метода знакомиться с девушками.

Иногда он вдруг вырастал словно из-под земли и шептал: "Слушай, я сегодня поляк, не забудь об этом и называй меня Станислав". Часто, чтобы завести фотографа, Арам звал его Лев, и тогда спутница спрашивала, почему его называют Лев, когда он — Станислав. Арам невозмутимо отвечал: "Потому что у него сердце льва". Для девушек, с которыми он бывал, такое объяснение сходило. Если еще учесть сильно аффектированный шепелявый акцент, хорошо сшитый костюм и пачку американских сигарет, то успех Алексева был полный.

По тому, как он разглядывал посетительницу кафе, было видно, что он обдумывает план атаки. И действительно, спустя несколько минут, он вошел в кафе и склонился над ее столиком. Он сказал ей что-то, и она в ответ пожала плечами. Лев разложил свои аппараты на столе, вытащил пачку "Марлборо" и заговорил шепелявым голосом.

В это время в кафе вбежал Арам.

— Привет, Лев! Что это за милая девушка с тобой?

Более неудачного момента Арам выбрать не мог. Лев собрал свое имущество и поспешно ретировался.

— Что это с ним? — удивился Арам. — Какая муха его укусила? — Я не услышал, что ответила девушка. — Послушай, Борис, что это ты сидишь там в одиночестве?! — закричал он. — Садись за наш столик, хватит места всем.

Когда я подошел, он был уже с девушкой "на ты" и называл ее Людмилой. Мы заказали еще по чашке кофе, Арам спросил Людмилу, есть ли у нее симпатичная подруга, похожая на нее, и прошелся по адресу Левки Алексева. Потом мы заговорили о квартирах.

— Людочка, — сказал Арам, — может быть, ты знаешь кого-нибудь, кто сдаст комнату симпатичному молодому человеку? Он, правда, еврей, но неплохой парень.

Людмила не знала, кто может сдать комнату, но посоветовала сходить на толкучку на Садовое Кольцо. Мы потрепались еще несколько минут, договорились встретиться с Людой в девять вечера у кафе и направились на Садовое Кольцо.

На Садовой было человек тридцать, и мы довольно скоро обошли их всех. Большинство, как и мы, искали комнаты и квартиры. Некоторые искали обмен, но были и сдающие.

Одна бабка сдавала квартиру, но исключительно семейным, желательно офицеру с семьей, о молодом холостяке не могло быть и речи. Арам пустил в ход все свое обаяние, но на этот раз оно ему не помогло. Бабка с трудом отвязалась от него и, стоя в стороне, жаловалась какому-то поддому дяде:

— Настырный еврейчик какой, квартиру ему подавай.

— Я, мамаша, армянин, — сказал Арам посмеиваясь.

— Армянин, еврей, одна порода — чернявые.

— Видишь? Что я тебе говорил? — Арам подмигнул мне. Он явно получал удовольствие от общения с народом.

В конце концов нам это надоело.

— Какого черта! — сказал Арам. — Пока поживешь у меня.

Квартира Арама находилась в двух шагах, на Горького, но и она была не его. Он снимал ее уже год. Квартира принадлежала одной армянской семье, уехавшей работать за границу. В ней было три комнаты. Прижимистые хозяева

перенесли все дорогие вещи и хорошую мебель в самую большую комнату и закрыли ее на ключ.

Две комнаты, которыми пользовался Арам, были практически пусты. Стола не было, вместо него Арам использовал деревянный ящик из-под вина. На полу лежал огромный полосатый матрас, вокруг стояло несколько ветхих стульев и одна табуретка. Обе комнаты были пыльные и неприбранные, как сироты, брошенные без присмотра.

Дома Арам поставил пластинку, и, развалившись на матраце, мы слушали густой баритон Лисициана. По утверждению Арама, Лисициан был не только его друг, но даже дальний родственник. Очень скоро меня потянуло в сон, и я сказал, что вздремну часок. Арам сказал, что попытается закончить рассказ про "Кровавого Моргана", и сел за машинку. Я честно пытался заснуть, но из этого ничего не вышло. Повалившись с полчаса, я сказал, что пойду в мастерскую и возьму кое-что из шмоток на ближайшие несколько дней.

— Только не забудь, что в девять у нас важное свидание, — сказал Арам, оторвавшись от машинки.

В мастерской я взял свой маленький чемоданчик, старый и потрепанный, и положил в него пару рубашек, чистые носки, зубную щетку и еще кое-какие мелочи. Потом сел на кровать и стал разглядывать свои иконы.

Как все нескладно получается. Я вспомнил, как четыре месяца назад переехал в мастерскую Воронцова. Лифт был испорчен, и мне пришлось раз шесть подниматься на восьмой этаж. Потом уборка, оплата воронцовских счетов, проводка нового кабеля. Сколько уже лет я снимаю эти проклятые квартиры. И как только привыкнешь, обживешься, как только твои друзья наконец запомнят твой номер телефона — приходится съезжать. Я сидел и материл своего друга Воронцова. Несчастный Казанова из Новгорода!

... Людмила не пришла. Мы подождали пятнадцать минут, потом еще пятнадцать и только тогда поняли, что дальше ждать бессмысленно.

— Ну, что, мой армянский герой-любовник? Как насчет подруги? Не зря освежил себя своей замечательной голубой рубашкой, — злорадно нудил я.

— Да брось, — отбивался расстроенный Арам. — Какая-то глупая баба... Сама себя обманула. Что, мало на свете Людмил? Пруд пруди. И два таких симпатичных и обаятельных парня, как мы с тобой. Да она волосы на себе будет рвать, когда поймет, кого она потеряла окончательно и бесповоротно. Хочешь новую Людмилу?

— Скажи лучше, что будем делать? — спросил я.

Это был вопрос, который мы задавали друг другу каждый день, когда наступал вечер. И каждый вечер отправлялись в одно из трех мест.

С пяти до девяти вечера лучше всего в "Национале".

С девяти до одиннадцати лучшим местом был, без сомнения, Дом Кино, где можно было всегда "закадрить" симпатичных девушек и посмотреть приличный фильм.

После одиннадцати все шли в ВТО. ВТО — самый уютный ресторан в Москве. Там собирались главным образом актеры. Были и другие представители московской богемы. Это единственное место в Москве, которое работало до двух часов ночи.

За стеклянной дверью ВТО стоял швейцар Веня, пожилой человек с лицом и оскалом бульдога, и проверял актерские удостоверения. Хотя ни Арам, ни я никакого отношения к театру не имели, если не считать знакомых актрис, сторожевой пес Веня никогда не спрашивал наших удостоверений личности. Зато не было случая, чтобы мы ни оставляли ему чаевые, которые Веня очень любил. Мы с Арамом как-то решили, что, если бы он не был журналистом, а я художником, мы стали бы швейцарами в ВТО. Мне кажется, Веня зарабатывал в день больше, чем каждый из нас за месяц.

Было уже около десяти, и мы находились напротив ВТО, поэтому выбирать не приходилось. Мы перешли улицу Горького, выжали две улыбки Вене и оказались в накуренном, забитом до отказа ресторане.

Во втором зале за шестиместным столиком сидел наш знакомый актер Федотов с двумя миловидными спутницами. Он был сыном известного советского писателя, который застрелился несколько лет тому назад. Говорили, что одной из причин его преждевременного ухода из жизни явился

хронический алкоголизм. Если это так, то следующим на очереди был сын. Впрочем, по его собственному выражению, он вообще-то не пил, а лишь "выпивал и закусывал". Кроме того, он обладал чувством юмора. Однажды у меня в мастерской мы скинулись и бросили жребий, кому идти за пивом. Вышло Федотову. Мы прождали его и пиво допоздна, но Федотов исчез. Явился он как ни в чем не бывало через три дня и приволок двадцать бутылок пива, которое, за отсутствием компании, мы с ним вдвоем и выпили.

Федотов познакомил нас со своими спутницами. Одна из них играла в театре на Таганке и считалась его невестой, вторая оказалась балериной из Ленинграда, по имени Наташа. Обе женщины были на взводе. Разговаривали медленно и устало ковыряли вилками салат из крабов. Я сидел рядом с Наташей и разглядывал ее. Арам сидел напротив и делал то же самое. У балерины были огромные бархатные глаза, несколько остекленевшие, длинная грациозная шея и плоская детская грудь. Она смотрела на меня не мигая, и у меня было ощущение, что она смотрит не на меня, а сквозь меня.

— Для полного счастья моего друга Бориса нам нужна еще одна девушка, похожая на вас, — сказал Арам.

Мы выпили по паре рюмок, чтобы хоть немного догнать соседей по столу.

— Почему вы ищете девушку для вашего друга? — спросила Наташа, посмотрев на меня своими бархатно-окаменелыми глазами, — Или я, по-вашему, ему не подхожу?

— Что вы, что вы, — сказал Арам, — вы прекрасны, просто я подумал, что у нас с вами одинакового цвета глаза, мы больше подходим друг другу. Вы случайно не армянка?

— Нет, не армянка, — сказала балерина.

Арам удрученно покачал головой, незаметно подмигнул мне и пихнул меня ногой под стол.

— Скажите, Наташа, а подруга у вас симпатичная есть? Для меня? — спросил он.

— В Ленинграде, — сказала она и засмеялась. — Весь кордебалет. Приезжайте в Ленинград.

— Что ж, — сказал Арам, — придется воспользоваться старыми адресами, — он вытащил свою знаменитую записную книжку.

Федотов целовал свою невесту, икал между поцелуями и снова тянулся к ее губам.

Я пытался поддержать разговор с балериной Наташей, но это оказалось не так-то просто. С уходом Арама она стала неразговорчива. Я рассказал ей пару анекдотов, а она спросила, где женский туалет, и я встал и проводил ее.

Минут пятнадцать я проторчал у дверей туалетной комнаты, и, когда я уже решил, что она утонула, балерина вышла. Ее лицо несколько побледнело, а глаза утратили их прежнюю остекленелость. Она гордо несла свою маленькую головку на длинной шее и ступала, едва касаясь пола.

Мы еле узнали наш стол. За время нашего отсутствия подошли еще знакомые, и официантки подставили к нему еще один стол.

Я поздоровался с Сергеем, известным московским шансонье, и его женой, отец которой был секретарем ЦК. Она была довольно мила, но вечно чем-то недовольна, и мы с Арамом ее недолюбливали. С ними был очень хорошо одетый человек, тоже чей-то сын.

Пока они заказывали выпивку и еду, мы поговорили с Арамом. Я спросил его, дозвонился ли он.

— Валюшка придет прямо домой около часа, — сказал он.

Валюшка, работавшая продавщицей в ГУМе, была его давнишняя и верная подруга. Обращался он с ней ужасно, но она ему все прощала.

За нашим столом сидели слишком разные люди, и общего разговора не получалось, Федотов, который наконец оторвался от своей невесты, рассказал какой-то похабный анекдот, правда, смешной, но и это не помогло. Жена шансонье недовольно наморщила свой тонкий носик. Чей-то сын презрительно хмыкнул.

— Гитара у тебя с собой, Серега? — спросил Арам.

Шансонье кивнул:

— Омниа меа мекум порта, — сказал он, и моя балерина посмотрела на него с интересом.

Я подумал, что неплохо иногда вставлять в разговор всякие латинские и прочие иностранные фразы. Это хорошо действует на женщин.

— Может, пойдем все ко мне, через дорогу? — предложил Арам. — Сережка попойет песенки, а я сделаю лучший в мире шашлык.

Все неожиданно согласились, и я пошел в буфет взять выпивку и мясо и заплатить по счету. Клава, наша официантка, обсчитала меня на пять рублей, но я не стал спорить. В следующий раз, когда у меня не будет денег, она накормит меня бесплатно.

Если бы Арам знал, чем все это кончится, он бы хорошо подумал, прежде чем пригласить к себе всю честную компанию. Прежде всего не на чем было сидеть, но эту проблему мы решили, рассевшись на матрасе, табуретке и трех шатающихся стульях.

Сергей брэнчал на гитаре, его жена сидела морща нос, Федотов целовал свою невесту, заняв добрую половину матраса, а Арам колдовал над шашлыками в кухне.

Моя балерина вдруг заявила, что терпеть не может мужчин с бородами. Меня покорило от такой прямоты, но какой тонкости можно требовать от человека, который зарабатывает хлеб ногами. Я был очень мил, я ей очень нравился, но борода...

— А если бы у меня не было бороды? — спросил я.

— О, тогда не было бы никаких препятствий для нашей любви, — задумчиво сказала она.

Когда, чисто выбритый и наодеколоненный, я вернулся в комнату, в ней все ходило ходуном.

В мое отсутствие Арам взломал дверь в большую комнату, и все таскали оттуда стулья, кресла, хрустальные бокалы и тарелки от немецкого сервиза.

Огромных размеров дубовый стол потребовал общих усилий. Все работали молча и сосредоточенно, и никто не обратил внимание на радикальные изменения в моей внешности.

Когда Арам спросил свою подругу Валю, которая смотрела на перестановку мебели с невероятным испугом в гла-

зах, не видела ли она меня, а я стоял просто рядом с ним, — я понял, что без бороды я стал неузнаваем. Только после того как я назвал его армянским кретином, он посмотрел в мою сторону. Но только взглянув на меня еще раз, он закричал:

— Нет!

— Да! — заорал я в ответ.

Квартира превратилась в сумасшедший дом. Ор стоял неимоверный.

Моя балерина бросилась ко мне в объятия и целовала мои чисто выбритые щеки. Сергей хлопал меня по спине, его жена соизволила улыбнуться, Федотов перестал целоваться, и только Арам стоял и грустно улыбался. Когда шум немного стих, он сказал:

— Какого черта тебе надо было бриться? — покачал головой и пошел на кухню.

Я помог ему разложить шашлык на немецкие тарелки с розочками, собственность его хозяев, проживавших за границей, и мы обошли гостей. Когда они отведали шашлык, все выпили за великого армянского шефа Сассикяна, и все девушки по очереди поцеловали Арама.

Потом Сергей запел. У него был несколько хрипловатый голос, и, когда он пел, по телу у меня всегда бегали мурашки. Хотя почти все из нас знали слова его песен на память, никто не встречал и не мешал ему. Все как-то даже притихли, погрузнели. Или, может, последняя песня навела на всех грусть. После поножовщины парня посадили в тюрьму. Девушка, конечно, его не дождалась. Песня кончалась так: "Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, не извиняю". Припев мы пропели хором.

Часов около пяти Сергей с женой и чей-то сын ушли. Федотов со своей невестой заснули под звуки гитары, и нам было жалко их будить.

Я увел балерину Наташу в большую комнату, и мы нежно разлеглись на двупальной кровати армянских хозяев Арама. Когда, усталые и улыбающиеся, мы лежали на смятых хозяйских простынях, балерина Наташа сказала:

— Вот дурень. Зачем-то сбрил бороду. Я все равно была бы с тобой.

Мы проснулись около двенадцати и пошли завтракать в "Националь", оставив неприбранные кровати, горы невымытой посуды и невыветрившийся запах шашлыка. Все были молчаливы и озабочены. Арам позевывал, а Федотов со своей актрисой никак не могли проснуться.

На улице было холодно, и дул резкий ветер. Навстречу нам попала группа туристов. Мужчины потирали уши, а женщины подняли воротники и держали их руками, спасаясь от холода. Мы были без пальто, и всю дорогу от "Националя" до дома я поеживался от холода.

На лестничной площадке перед квартирой Арама лежали горы книг и пластинок, чистые и грязные рубашки и носки, печатная машинка, а сверху мой маленький чемоданчик с открытой крышкой. Мы уставились друг на друга. Арам попытался открыть дверь, но безрезультатно. В дверь был вделан новый замок. Мы поняли, что толстая родственница Арамовских хозяев сыграла с нами премильную шутку.

— Теперь уж точно нам придется снимать одну большую квартиру, — сказал Арам.

Не знаю, почему нас с ним разобрал смех, да, мы валялись на лестнице и катались от хохота. Рядом с нами стояла подруга Арама Валя, и выражение ее лица было то же, что и вчера, когда Арам взломал дверь в большую комнату.

НАШЕ ВРЕМЯ ПЕРЕПРОВОЖДЕНИЕ

Нам с Арамом особенно нравилось сидеть в "Национале" во время обеденного перерыва с четырех до пяти. В это время в кафе тихо и безлюдно, и можно спокойно посидеть и потрепаться. Никого посторонних не было, всех, кроме постоянных клиентов, выгоняли на перерыв. У нас были две подружки среди официанток, толстая Тамара и Зоя. Они работали

в разных сменах, что было для нас удобно: когда бы мы ни пришли, нам не приходилось ждать ни места, ни еды. Учитывая кошмар московских очередей и невероятную наглость обслуживания, нам с Арамом с "Националем" крупно повезло.

Кафе расположено в самом центре Москвы, на углу улицы Горького и проспекта Маркса, и, хотя в нем сорок столиков, оно всегда забито. Лучшие столики у окон выходили на Манежную площадь и Спасскую башню московского Кремля, которую Арам называл Московским Биг-Беном.

Я ни разу не видел, как мыли огромные окна "Националя", но они всегда сверкали.

Движение за окнами было громадное. С ним с трудом справлялся бедный регулировщик. Вообще-то их было трое, два — ничем не примечательные милиционеры, зато третий, которого все в "Национале" называли "балериной", был "что-нибудь особенного". Высокий смуглый красавец, затянутый ремнями. Каждое движение его было полно грации. Скопище машин было для него оркестром, полностью подвластным его дирижерскому жезлу. Я уверен, что он прекрасно знал, что за ним наблюдают тысячи глаз, и чувствовал себя на площади как на сцене. Часто, когда нам нечего было делать, мы говорили друг другу: "Пойдем, посмотрим на "балерину". И шли в "Националь".

Мы сидели за столиком "толстой Тамары", мой друг Арам, я, Алик, сорокалетний болван, автор популярных советских песен, его очередная подруга жизни Ада, медсестра с огромным бюстом и задом, и композитор Романов, почти совсем облысевший, но ни на минуту не расстававшийся с маленькой гребенкой из слоновой кости.

В последнее время Романов совсем чокнулся. Виной тому была его фамилия. Он был уверен, что является потомком русских царей, что само по себе не так уж страшно, но, когда он пытался уверить в этом нас, которые знали его как облупленного, общаться с ним становилось невыносимо скучно. Если бы Романов один предавался геральдическим изысканиям, то, черт с ним, мы бы стерпели даже его аристо-

кратическое происхождение, а то теперь, куда ни ткни, — одни сплошные аристократы.

Масса моих знакомых в последнее время вполне серьезно начала заниматься своей генеалогией, пытаясь отыскать свои имена в каком-нибудь альманахе Готца.

Или все вдруг стали венчаться в церкви и креститься. С ума сойти можно. Нам с Арамом с нашими фамилиями, как он говорит, "неудобно раздеться в приличном обществе".

Мы сидели, пили кофе и разговаривали. Поэт-песенник Алик пил кофе, потому что ему жалко было денег на что-нибудь другое. Несмотря на то, что он был самый богатый из нас, он никогда никого не угощал, даже Аде своей и то ничего, кроме кофе, не заказывал. Черный, без сахара и без молока.

Все его песни были про Россию, про русские поля, про русские озера, про русскую природу. Сам он, конечно, был еврей. Его настоящее имя было Абрам Соломонович, но он называл себя Александр Семенович, а чаще представлялся просто Алик. Официантки называли его с Адой "кофелитиками", и часто, когда мы проходили мимо и спрашивали, есть ли кто из приятелей, мы слышали: "никого, кроме "кофелитиков". В его песнях Марусь рифмовалась с Русь.

Мы пили кофе, запивая его "Боржоми", разговаривали и наблюдали за выкрутасами "балерины". Уборщица мела полы, взметая клубы пыли. Ада попросила ее мести поаккуратнее, но это привело женщину в такую ярость, что, спасаясь от пыли, мы перебрались за другой столик. Не знаю, как в других странах, но в России самые важные люди — это швейцары, официанты и уборщицы.

Мы разговаривали о политике, лениво поругивая правительство и ЦК КПСС, высокие цены, евреев и неверность женщин. Арам рассказал шутку о парадоксе 20 века, когда англичане и американцы, русские и французы торгуют, а евреи воюют. Ада заявила, что антисемитизма больше нет, что есть только зависть. Евреи уезжают, а русские должны сидеть, потому что у них нет исторической родины.

— Я бы ушел пешком, если бы выпустили, — сказал Романов.

- Ну и куда бы ты пошел? — спросил поэт-песенник.
- Как куда? — удивился Романов. — В Париж.
- Думаешь, кто-нибудь ждет тебя в Париже? — продолжал

Алик.

— Меня и здесь никто не ждет, — сказал композитор. — Так что, пусть уж лучше никто не ждет меня в Париже.

— Да нет, я серьезно. Ну, попадешь ты в Париж, а дальше?

— Что значит дальше? — удивился Романов. — У меня там родственники есть, тоже Романовы. Из тех Романовых, ну вы знаете, кого я имею в виду.

— Родственники, шмодственники, — передразнил его Алик, — поживешь у них с неделю и привет.

— Я буду работать, писать музыку, — сказал Романов.

— Насколько мне известно, там работают не так, как в России.

— Задаром деньги нигде не платят, — сказал я.

— Да вы же знаете, что я имею в виду. Большую часть времени мы ни фига не делаем, сидим в кафе и ресторанах, напиваемся и спим с женщинами, — вместо "спим" Алик употребил другое слово.

— Может быть, ты не будешь ругаться в моем присутствии? — возмутилась Ада. Она сердилась на Алика, потому что тот от жадности отказался заказать ей поесть.

— Ты должна худеть, — заявил он.

— Можно мне выругать его по-итальянски? — хитро сощурился Арам.

— По-итальянски еще куда ни шло. Хотя язык красивый.

— Вы мудак, Антонио, — сказал Арам и, повернувшись к Аде, спросил: — Ну, как мой итальянский?

Когда мы кончили смеяться, Арам сказал:

— Конечно, отчасти то, что ты говоришь, Алик, это справедливо. Но как это вышло? Когда я работал в газете после университета, я ни разу не написал то, что мне хотелось. Чуть что не так — и статью возвращали. От самого меня не оставалось ничего, кроме названия. Теперь я пишу байки для детей. И то правят напропалую.. Вот Борька, сдал карикатуры в "Советский Спорт", а ему говорят: "У врата-

ря слишком большие брови. Переделайте. И переделал. А то еще пришли бы, что хотел изобразить нашего дорогого Леонида Ильича. Ты-то уж ясно пишешь свои песенки чик-чак, одной левой. Я бы такое дерьмо одним пальцем написал.

— Бросьте, — сказал я, увидев, что поэт-песенник собирается полезть в бутылку. — Нечего переходить на личности. Одного я только не понимаю, — продолжал я, — почему они никого не выпускают? Открыли бы границы, и почти никто бы не уехал.

— Арам, а ты-то уехал бы? — спросил Романов.

— Он-то уехал бы. Если действительно Онассис его родственник. С такими деньгами не пропадешь, — съязвил Алик.

— Да разве дело в деньгах? Разве из-за денег люди хотят уехать за границу? — сказал Арам.

— А из-за чего еще? — спросил поэт.

— Как это из-за чего?—возмутился Арам.—Из-за свободы, хотя свободы нет нигде. Другой думает, что уедет из России и везде будут встречать фанфарами. Я еще понимаю евреев. Они хоть едут к себе на родину. Правда, трудно быть уверенным, что Израиль их родина. Но там хотя бы они не будут национальным меньшинством. А возьмите армян, те, кто родился в Париже, все хотят уехать назад. А почему? Потому что, хотя они и армяне, родина их — Франция. А я родился в Армении и надеюсь, что умру там. Не случайно же мой отец перед смертью уехал в Ереван. Значит, есть что-то, что тянет назад, в детство.

Все притихли. Толстая Тамара подошла к нашему столику с омлетом и ела его стоя, запивая минеральной водой с нашего столика.

Мы заказали по сто коньяка и еще кофе, и я пошел позвонить одной своей приятельнице. Пока я еще не уехал в Израиль, нужно было подумать о вечере.

Было около пяти, и в холле стояла толпа, ожидая, когда снимут объявление "кафе закрыто на обеденный перерыв".

У телефона-автомата разговаривали две девушки. У одной из них были длинные ресницы, и, когда я уставился на нее, вернее, как говорил Арам, "окинул ее соколиным взглядом", они смущенно задрожали.

— Можно попросить Лену? — спросил я, когда мне ответил невыспавшийся мужской голос.

— Лена вышла, — сказал голос, — и притом замуж, — и трубку повесили.

В это время часы на Спасской башне пробили пять, и толпа хлынула в кафе. Я вошел вместе с двумя девушками, раздумывая, как поинтеллигентнее пригласить их за наш стол, но, пока я раздумывал, они сели за двухместный столик. Ресницы, правда, улыбнулись мне, но, может быть, мне это показалось.

За нашим столом шел спор. Все орали в один голос, но Арам и Алик громче остальных.

— А я говорю, что да! — кричал Арам.

— Готов с тобой поспорить на все, что хочешь! — кричал Алик.

Я спросил о чем спор, но не получил ответа. Все так завелись, что явно не было времени посвящать меня. Вскоре, однако, я разобрался.

Пока я звонил, наш стол любовался искусством "балерины", и Романов ни с того ни с сего заявил, что у регулировщика очень аристократические уши. Алик спросил его, что это значит, и знаток аристократии начал ему объяснять. Заговорили об ушах, и Ада заявила, что у поэта были волосатые колющие уши, которые неприятно ласкать. Обидевшись, поэт заявил, что пусть она ласкает уши "балерины".

— А что, — сказала Ада, — у него симпатичные розовые мочки. За них приятно было бы подержаться.

— Ну так пойди и подержись за его мочки, — сердито сказал Алик.

И тогда Арам сказал, что он готов подержаться за мочки "балерины", и не просто подержаться, а продержаться "балерину" за ухо целую минуту. Поэт-песенник вытащил пачку денег, всего пятьсот с лишним рублей, и сказал, что готов поспорить на все деньги, что Арам этого не сделает. Глаза Арама загорелись пиратским блеском.

— Как только я схвачу его за ухо, начинайте отсчитывать секунды, — сказал он. — Боря, смотри, чтобы он не жульничал, — сказал Арам и вышел из-за стола.

Через несколько секунд мы увидели из окна, как Арам решительно направился к регулировщику. Мы все затаили дыхание, наблюдая, что будет дальше. Мы увидели, как Арам подошел к "балерине", что-то сказал ему и схватил того за ухо.

На кремлевских часах было ровно пять часов одиннадцать минут. Минута — ничтожно малый отрезок времени, но мне даже секунда казалась вечностью. Увидев, что мы все смотрим на площадь, другие посетители кафе тоже стали смотреть.

Движение приостановилось, и на всех подъездах к площади образовались пробки. Хотя гудеть на площади было категорически запрещено из-за близости Кремля, некоторые нетерпеливые водители начали давить на клаксоны. Поднялся такой гвалт, что кто-то из наших соседей по столу закричал, что в Кремле пожар.

Около "Националя" всегда дежурили несколько милиционеров, и мы увидели, как они рысцой побежали к центру площади, где стоял Арам, держа "балерину" за левое ухо и поглядывая украдкой на Спасскую башню. Минута уже прошла, но он почему-то не отпускал ухо регулировщика.

Я снова посмотрел на часы, потом на постное лицо поэта-песенника. Арам уже выиграл пари, но какого черта этот идиот все еще там торчал. В милицию он, что ли, захотел попасть? Я сидел как на иголках и ругал его напропалую.

"Кретино, идиото, болвано, дегенерато", — шипел я полный негодования. Эту манеру поругивать друг друга мы переняли у нашего друга Алексея, московского писателя, который ездил по туристской путевке в Италию.

Один раз, когда Алексей сидел в кафе на улице с еще одним членом группы, к нему пристала миланская проститутка. Она была согласна пойти с ним без денег. И тогда наш друг выдал ей весь свой запас итальянских слов и выражений. Он бил себя в грудь и повторял: "Руссо, советико, догматико, прагматико, коммуниста, импотенто". Итальянский язык Алексея произвел на нас неизгладимое впечатление. С тех пор, разговаривая друг с другом, мы начали прибавлять букву "о" ко всем словам, но особенно удачными

выходили ругательства. "Бандито, педерасто, болвано, проститутто" звучали гораздо выразительнее по-итальянски.

Милиционеры были уже в двух шагах от Арама. Прошло около двух минут, как он держал "балерину" за ухо. Теперь они заберут его, и все будет кончено. Армянский кретин с его армянскими шутками.

Вдруг Арам отпустил ухо регулировщика и неторопливо зашагал назад, не обращая внимания на сбежавшихся блюстителей порядка. Они нерешительно переглянулись между собой, не зная, что делать с моим другом, потом как коршуны налетели на "балерину". Они размахивали руками, указывали на скопище ревущих от нетерпения машин. Яростно свистели в милицейские свистки в попытке навести порядок.

Поначалу "балерина", по-видимому, пытался оправдаться, потом он вздрогнул, как будто кто-то резким ударом кнута разбудил его глубокой ночью и он не мог сообразить, где он находился и что происходило вокруг.

Увидев парализованный по его вине городской транспорт, "балерина" схватился за голову, проводил глазами Арама, уже почти добравшегося до окна, за которым мы следили за происходящим, и начал лихорадочно размахивать регулировочным жезлом в попытке восстановить порядок.

Арам поравнялся с кафе, сделал нам знак встретиться с ним на улице и скрылся за углом.

"Балерина" отчаянно размахивал жезлом. Его движения потеряли былую четкость и элегантность, скорее, они напомнили испорченный автомат. Откуда-то подкатил новый наряд милиции, и на площади скопилась взбудораженная растерянная толпа. Мы заплатили по счету и вышли из кафе.

На тротуаре, около гостиницы, люди обсуждали происходящее. "Поймали американского шпиона", — пояснял высокий гражданин в очках и длиннополом белом плаще. На углу кто-то шептал, что совершено покушение на одного из членов Политбюро, а полная белолицая дама безапелляционно заявила, что в гостиницу проникли воры и ограбили сейф со всей находящейся в нем иностранной валютой. Посмеиваясь про себя, мы зашагали вверх по улице Горького.

Арам мог быть в одном из двух мест: или в кафе "Марс", или на Центральном телеграфе. Ада вызвалась заглянуть в "Марс", но тут же возвратилась и сказала, что его там нет. Мы нашли его у телефонов-автоматов на Центральном телеграфе. Увидев нас, он осклабился и неторопливо приблизился к нам. Его хитрая армянская рожа сияла от удовольствия.

— Что ты говорил ему так долго? — спросил я.

— Я сказал ему, что в одном из номеров гостиницы два грузина насилюют трех иностранок, — засмеялся Арам.

— И на это у тебя ушло две минуты? — недоверчиво переспросил я.

— Я хорошо знаком с нашим другом Аликом и хотел быть уверенным, чтобы после не было никаких споров. Поэтому мне пришлось описать "балерине" бедных женщин. Одна, из них, по-моему, очень понравилась "балерине". Если бы я сказал, что их было пять, я продержал бы его дольше. Зато теперь я совершенно уверен, что "балерина" не армянин. Таких глупых армян не бывает.

Потом был произведен расчет, и пятьсот рублей перекочевали из кармана поэта в карман Арама, к нашему большому удовольствию.

Тут же, в зале Центрального телеграфа, Арам пригласил нас всех пообедать, заявив, что деньги жгут ему карман. Он добавил, что пришло время наконец накормить Аду. Ада с радостью согласилась, но Алик был так расстроен потерей денег, что, не попрощавшись, исчез.

Мы начали с "Астории", где плотно выпили и закусили. Оттуда мы пошли пить кофе в "Арабат", где Арам встретил друзей из Еревана. Он послал им на стол бутылку армянского коньяка, а потом они отправились с нами в бар гостиницы "Россия". Мы закончили вечер в Доме журналиста на Арбате. Никто из нас не мог больше смотреть ни на еду, ни на выпивку.

Карманы Арама стали намного легче. От пятисот рублей осталось восемьдесят, но это его нисколько не беспокоило.

— Легко пришло, легко ушло, — сказал он, дав Романову рубль и посадив его в такси. Ада категорически отказалась

ехать домой. Вначале мы пытались уговорить ее, но она устроила скандал, и на нас стали обращать внимание. Чтобы успокоить ее, нам пришлось согласиться, и я пошутил, что вместе с пари Арам выиграл также девушку Алика.

На следующий день, когда мы пришли в "Националь", толстая Тамара рассказала нам, что "балерину" перевели из центра куда-то на окраину.

ФОНД ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Основан Фонд друзей журнала "Время и мы". Средства Фонда расходуются на поддержку деятельности этого журнала, привлечение к его работе наиболее одаренных русскоязычных писателей в Израиле и за его пределами, на издание лучших произведений евреев-писателей, как приехавших в Израиль, так и остающихся в России, на установление связей с русским и еврейским Самиздатом.

В правление Фонда входят:

Израиль Бар-Шира, Егошуа А. Гильбоа, Михаил Клявер, Яков Махт, Борис Орлов, Виктор Перельман, Наталия Рубинштейн, Йосеф Текоа.

Взносы направляются через банковский счет журнала "Время и мы" по адресу:

Israel Discont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.

Е. ЦВЕТКОВ

ДВА РАССКАЗА

РАЗГОВОР С ГЛУХОНЕМЫМ

Поездка складывалась неудачно. С утра холодная, сырая гадость затянула небо. Мглистые дымы уныло волочились темными разбухшими клубами над закоптелыми стенами домов. Не таким ожидал он увидеть этот чужой, далекий город. В гостинице мест не оказалось. Он долго звонил, требовал, объяснял. И, наконец, после нескольких часов усилий, кто-то кому-то что-то сказал по телефону, и ему дали номер. С соседом. Без ванны. С совмещенным душе-унитазом. Гостиница была старой и не из лучших.

— А, черт! — Родион выругался, едва успев переступить через тускло блеснувшую в темноте гладь лужи. — Не могут фонари почаше навесить. Ведь центр города...

Узкие, маленькие оконца, прорезанные в толстых стенах домов, светились неясно и равнодушно.

Он перешагнул еще через пару маслянистых, черных ловушек, подстерегавших башмаки прохожего, и вышел на главную улицу. Остановился. Впереди маячил пустой вечер. И некуда девать себя. Желтый туман клубился вокруг одиноких фонарей.



... Нет, ему определено не повезло. Родион с тоской стал смотреть вдоль улицы, что вела к гостинице.

Прохожие неслышно, теньями, скользили мимо. Взад и вперед. Редко долетало слово. Негромкая, аккуратная фраза. Сбычившись, мрачно громоздились дома. Молчали неодобрительно. "Чужой. Никто тебя сюда не звал. Тебе скучно, так поезжай туда, где весело. Нет, нет, тут живут вежливые люди. Вас хорошо обслуживают. Но общаться — не станут. Ты никому не нужен здесь". Аккуратные, негромкие слова. И такие же аккуратные шляпы над серыми некрасивыми лицами. Губы тонкие и сжаты плотно. Трезвость. Тихо. Правильно.

"Господи, как уныло, — подумал он и стремительно, зло зашагал в гостиницу. В номер. — К себе! Куда к себе? — мелькнула мысль. Злость и решительность угасли. — В этот аккуратный и унылый ресторан, чтобы выпить водки? Согреться наедине со своими мыслями... А что потом? — насмешливо спросил он сам себя. — Пойти в номер, где сыро и холодно. Залезть под влажную простыню, что пахнет скверным мылом, и тяжело уснуть? Боже! — почти вслух воскликнул Родион. — Как все нелепо устроено в этом мире! После сырого тумана, в такую мразь, разлитую по небу, как сегодня, окунуться бы в сухость и тепло. Туда, где много огня, и жарко, и у женщин под гладкой кожей горячая кровь. Где ярко горит камин. Зубы-жемчуга вспыхивают улыбкой там и тут. Блеск, шум, веселие. Теплота и жар накатывают волнами. Где радостно без причины... Мда", — он резко оборвал себя и с ненавистью толкнул тяжелую дверь. Не заходя в номер, свернул налево и направился в ресторан.

В дверях ресторана он столкнулся с толстым субъектом невысокого роста, в сапожках и поддевке. Рожа у субъекта была круглая, кошачья. Глазки неопределенного цвета жидко поблескивали, как две капли масла в супе.

Родион отступил вправо, чтобы пропустить его. И тот шагнул вправо. Тогда Родион качнулся влево. Напоминавший кота мужичок, приседая на коротких кривых лапах в сапогах, тоже крутнулся влево. Раздражаясь, Родион отступил,

распахнул дверь и, сделав приглашающий жест, довольно грубо и зло проговорил:

— Вы, что, выходите или входите?

— А вы в ресторан? — как ни в чем не бывало поинтересовался субъект в поддевке и, сделав в свою очередь приглашающий жест рукой, заявил: — Пожалуйста!

Тут Родион понял, что этот, с липкими глазками кот здесь служит. Вроде привратника и одновременно распорядителя, потому что, пригласив, он тут же показал, куда Родиону, по его мнению, надо садиться. Раздраженный Родион уже хотел было пройти мимо приплясывающего распорядителя, но тот, оставаясь по-прежнему на дороге, простодушно спросил:

— А что ж без девки?

Родион опешил от этой, как ему показалось, удивительной наглости, но тут же спохватился и рассвирепел страшно.

— У меня девки, — он нажал на слово "девка", — нет!

Кот в поддевке замаячил перед ним, закрутился, приплясывая, и вдруг, видимо прощупав Родиона и убедившись в чем-то своем, объявил, жизнерадостно улыбаясь во всю пасть с кривыми зубами:

— Ну, это не проблема. Девочек у нас много...

А глаза кошачьи так и впились в Родиона, ощупывая.

Родиону казалось, что он все время пачкается в каком-то скользком машинном масле.

— Обойдусь без "девки", — сказал он и снова сделал движение войти в ресторанный зал.

— Без девки скучно, — заверила поддевка, и опять сапоги на кривых коротких ногах заплясали под небольшим четырехугольником тела.

— Как-нибудь, — и, теперь уже не скрывая отвращения и неприязни, Родион подчиркнуто брезгливо отодвинул его рукой и прошел в зал.

Распорядитель зло сверкнул взглядом и отвалился жирным, кургузым телом в сторону.

Родион сам выбрал пустой столик и сел. Настроение у него окончательно испортилось. "Какая наглая, настырная тварь! — подумал он с омерзением. — И не боится..."

Мужичок, напоминавший кота, по-прежнему топтался у двери. Приседал, изгибался. Делал приглашающие жесты короткопалой рукой... Родион огляделся. За столиками вокруг сидели люди в пиджаках, с удивительно дурацкими галстуками. Командировочные. Никогда не ошибетесь. Только у них бывают такие нелепые, совершенно неподходящей расцветки галстуки. Недаром говорят "галстук, как у командировочного", когда хотят выразить степень безвкусицы. Племя командировочных! Неистребимое. Везде и всегда. Вырвавшееся на свободу. Жаждающее приключений. Пусть самых заурядных. Любопытно, если галстук рассматривать, как фаллический символ, то становится понятно, почему он так нелеп, а по сути дела просто выставлен напоказ, у командировочного. Ведь галстук, хорошо подобранный, в тон и прочее — незаметен...

Бедняга командировочный. Он думает вот-вот начнется! Вот-вот, и пьет. В командировке всегда пьют. Так надо. Он ждет. А ничего не происходит. Ничего. Унылое разочарование на лицах.

От их плоских рож Родиону стало совсем невыносимо. Он все время чувствовал, что его неприятности не кончатся. И этот, с жирными, масляными глазками, отомстит ему как-то. Родион сидел за столиком один. И с трепетом ждал, как вот-вот к нему кого-нибудь подсадят. "Господи, неужели не имеет права человек побыть наедине с собой? Наверняка подсадят, — с тоской подумал он снова. Этого и боялся больше всего, поглядывая обреченно на вход. — Хорошо, если человек приятный. А так..."

Грянул оркестр. Родион на миг отвернулся от двери. Когда он снова бросил туда взгляд, то невольно вздрогнул от предчувствия.

В дверях стоял урод.

Лоб дегенерата, далеко выдвинутый вперед, нависал круглым булыжником. Обезьянья челюсть. Фигура закормленного мальчика с квадратными, жирными плечами. Как блуза у художников, на нем была надета свободная, из грубого полотна темная рубаша навывпуск. Из-под нее выдавался, пучился наружу большой живот. Движения резкие,

повелительные, судорожные. Казалось, от него так и летит во все стороны страшное, жеребиное: Иииииии...

Перед уродом мотался на кривых лапах в сапогах распорядитель. В душе Родиона екнуло: "Точно!" Эта скотина показал на его столик и подозвал официанта.

Толстый урод заметался, быстро и резко дернул одной рукой, потом другой. Судорожно и раздраженно пошевелил пальцами: "Мол, пишущее мне что-нибудь!"

"Глухонемой", — подумал Родион.

Официант достал карандаш. Урод схватил его и, вспарывая бумагу, судорожно стал писать. Все время он находился в беспокойном движении. Казалось, нервы его в каждое мгновение на пределе и вот-вот терпение его лопнет...

"В каждом ресторане — своя достопримечательность", — с тоской думал Родион.

Судя по всему, этого глухонемого здесь знали. Официант спокойно поглядывал на листок. Глухонемой несколько раз отрывался от молчаливых букв и энергично приглашал официанта прочесть, что там написано. Тот равнодушно кивал головой, и карандаш тут же стремительно пахал бумагу дальше. Вот он последний раз резко дернул рукой и отдал листок вместе с карандашом официанту. Но тут же выхватил его обратно, ткнул пальцем. Стал яростно и выразительно жестикулировать...

Родион с тоской и смятением в душе ждал, чем все это кончится. Наклонив набриоленную голову, официант тоже терпеливо ждал, кивая время от времени. Свет тускло поблескивал, отражаясь в жидком проборе.

Глухонемой пожестикулировал еще немного, пометался между столиком и официантом и, наконец, видимо, удовлетворенный, сел.

Но тут же повернулся на стуле. Потом дернулся в другую сторону. Пошевелил быстро пальцами...

Родион сидел вполоборота к глухонемому, стараясь не смотреть на него. Не задумываясь, он перебрался бы за другой столик. От одного вида этого толстого, неопрятного уroda его подташнивало. Отличное приключение! Все для командировочного. Он горько про себя засмеялся. Но сил

бороться не было. Официант уже принял у него заказ. Да и не возьми он заказ, все равно, просто так встать и перебраться за другой стол Родион не мог. Это была бы демонстрация. Демонстрация отвращения к отверженному, и без того несчастному.

"А, черт! — зло подумал он. — Неужели эти уроды не понимают, в какое глупое они ставят нас положение?! Сейчас он будет чавкать, давить судорожно пальцами мякиш хлеба, нервно катать из него шарики, потом их глотать... А тебя, — Родион сжал зубы, — тебя все время будет тошнить, и кусок в горло не полезет... А ты крепись, делай вид, как будто это тебя не касается... У, сволочь!" — подумал он с ненавистью про сутенера возле двери. Тот продолжал как ни в чем не бывало мотаться там на своих кривых мягких лапах в сапогах. Угодливо приседал, короткопалой рукой делал приглашающие жесты...

"..Вот тебе и собеседник, которого ты так жаждал, — подумал Родион с тоской, — глухой и немой. Тихий у нас может выйти разговор... — он усмехнулся про себя. — А что? По-своему символично. Все мы глухие и немые. Глухие потому, что иногда лучше не расслышать. Немые оттого, что часто лучше промолчать. И молчим, молчим, делаем вид, что не слышим..."

Оркестр тяжело и добропорядочно отбивал такт. Как боевой рог древних германцев, резко и неприятно ревели трубы. Саксофон хрипел, но не страстно, не задыхаясь от чувств, а просто хрипел, как хрипит простуженный. Глухо и зло бухал барабан, точно и аккуратно, в такт.

В зале света было немного, и оттого еще сильнее были обнажены и сумрачнее казались высокие голые колонны, что поддерживали светлый безликий потолок. Танцующие двигались, как автоматы, точными аккуратными движениями. Раз-два. Шаг вперед, назад и вбок. Вперед, назад и вбок. Лица неподвижны. Все молчат. Сосредоточены. Вперед, назад и вбок. Тум, тум, тум — да, да... Равнодушно соглашался оркестр с их отмеренными, механически точными движениями. И так же равнодушно рявкал и взывал, где надо, имитируя прилив энтузиазма и жизни.

Он вздрогнул. Глухонемой коснулся его руки и даже подергал за рукав.

Родион повернулся.

Перед ним действительно сидел урод. Сказать точно, что его уродовало, было бы не просто. Пожалуй, только выпуклый, круглый лоб, валиком безобразно нависал над лицом. Он с очевидностью был дегенеративным признаком. Все остальное чуть-чуть, почти незаметно глазу, отличалось от какой-то, неизвестной нормы. И эффект достигался. Особенно издалека.

Вблизи дегенерат пропал. Как-то странно исчез и растворился в удивительно живом и умном взгляде. Быстрые темные глаза глядели на Родиона. Казалось, жизнь, ум, боль собрались в них и переполнили эти мрачные, темные два отверстия в чужую душу. Кожа содрана, и глубина обнажена. И в этой глубине бьется, пульсирует нервными толчками, обливаясь горячей кровью, темное, человеческое, что не выразить. Чуть затянутые пеленой, подернутые какой-то удивительной грустью, даже в тот момент, когда улыбается человек, глаза эти привлекали, жаловались, говорили с вами...

Знаками глухонемой попросил что-нибудь пишущее.

Родион достал авторучку и протянул ему. Быстро тот написал на салфетке несколько слов и резко подвинул листок Родиону, мимикой и жестами предлагая прочитать.

"Я из Ленинграда, было написано на салфетке. — А вы откуда?"

И неожиданно Родион обрадовался. Этот урод не был местным. И здесь он так же одинок, как ты. Так же, как ты, — отвержен.

"Я из Москвы", — охотно написал он и толкнул листок обратно.

Глухонемой прочел. Быстро глянул на него и энергично, радостно закивал, стискивая приветственно руки.

Официант принес заказанное. Тускло отсветив набриолиненным аккуратным волосом, поставил на серую, но чистую скатерть некрасивый графинчик с водкой для Родиона. На тарелочке несколько бледных желтых ломтиков помидора. Хлеб. "Такой, наверно, подавали героям Диккенса в сирот-

ском доме... Вообще все чисто и вроде аккуратно, но удивительно убого и серо в этом городе", — подумал Родион и тут заметил с удивлением, что перед его визави набриолиненный аккуратист с постной рожей тоже поставил графинчик с белой, бесцветной жидкостью.

В душе у Родиона разом потеплело.

"А почему, собственно, с удивлением? Чему ты удивился? — подумал он снова. — Разве глухонемым не положено пить?"

Они налили по рюмке, чокнулись и выпили. Водка была отвратительная. Возникло ощущение, что в горло тебе насыпали мелко раздробленный, сухой антрацит, и тщетно ты стараешься проглотить его. Но ощущение это быстро прошло. Бледный, кислый ломтик помидора заскользил вниз по пищеводу, туда, где уже приятно жгло и откуда тепло вот-вот влажными струями потечет во все стороны. И станет хорошо.

Застывшие чинно друг перед другом танцоры снова задыгались. Раз-два-три. Раз-два-три. Тяжело гремел унылый вальс. Бесстрастные пары заскользили в круговращательном движении.

"А для него ведь звуков нет, — подумал Родион. — И тихо. Всегда тихо. А эти люди, я и парочки — все, как лица на экране с выключенным динамиком. Изображения, которые всегда молчат. Прозрачная тишина... Интересно, чем он занимается?" Несмотря на уродство, теперь, правда, почти совсем исчезнувшее для него, так быстро впитали в себя эти удивительно умные глаза все недостатки плоти, Родиону казалось, что человек этот необычен. "Быть может, странный гений? — думал он. — Математик?" Почему-то ему казалось, что глухонемой должен быть математиком. В одиночестве и бесконечной тишине глядится его, лишенный звуков разум, в беззвучные образы...

Он взял инициативу в свои руки и быстро написал на новой салфетке:

"Простите, вы не математик? Мне показалось, что вы должны быть математиком, и я решил спросить".

"Нет, — написал глухонемой в ответ, — но я, правда, люблю математику. Это мое хобби". Слово "хобби" как-то резануло Родиона. У глухонемого — хобби? Непонятно почему, но сочетание казалось неестественным. "Я кинооператор, — читал Родион дальше. — Фильмы для глухонемых".

И, заметив, что Родион все прочел, глухонемой радостно улыбнулся.

"Разве бывают фильмы для глухонемых? — подумал Родион в растерянности и вздрогнул. — Почему же нет? Только они, эти фильмы, немые".

И от такого открытия у него неприятно заныло там, где живот и, наверное, смерть. "Не щадить живота своего" — всплыла в сознании неподходящая случаю фраза.

Их немая беседа прервалась.

Парочки снова стояли, застыв и еле двигая губами, тихо переговаривались. Оркестр готовился еще раз сыграть и отдохнуть. Вокруг звякали ножи, скребли по тарелкам. Где-то грохнула посуда.

Глухонемой неожиданно снова подергал его за рукав и подsunул записку: "В Москве вы не знаете моего брата, Смирнова Алексея?"

"Нет", — написал Родион и слегка огорчился. Для странного гения вопрос был слишком наивным.

Немой быстро прочел, энергично закивал и порывисто задвигал авторучкой:

"Ну да, в Москве восемь миллионов. Нельзя всех знать", — стояли следующие фразы на листке.

И они выпили за то, что нельзя всех знать, если всех так много, — улыбаясь, как два иностранца, которые относятся хорошо, рады друг другу, но общего языка не знают. Поэтому они все выражают в основном жестами и мимикой.

"Он живет в Химках, — снова написал глухонемой и, подождав, пока Родион прочтет, быстро дописал: — Туда провели метро?"

"Провели", — лаконично ответил Родион.

Немой радостно закивал. Тогда Родион еще приписал, разъясняя, как ребенку:

"Теперь в Москве почти везде метро".

Тот снова закивал и быстро схватив листок, что-то написал.

"А нельзя провести метро между Ленинградом и Москвой?" — прочел Родион и вновь отметил про себя, до какой степени детский у них разговор. Подумал, что другого и не может быть. Все-таки дефект есть дефект. Снисходительно начертал:

"Думаю, что нельзя. Очень дорого".

Глухонемой понимающе кивнул и, кажется, загрузил от этой невозможности. Они снова выпили. Оркестр утомленно рывкнул, и пары ожили. Все так же аккуратно, четко задвигались у них ноги. Лица бесстрастно смотрели мимо Родиона. За соседними столиками скучали командировочные, завидуя ему. Оживленная беседа Родиона с глухонемым, при помощи порхающего туда-сюда листка, видимо, интриговала их. Скучно...

"А все-таки, — думал Родион, — странная психика у этих... — он замялся, про себя подыскивая слово, — вопросы детские. Брат в восьмимиллионном городе. Метро между Ленинградом и Москвой?"

Он оглядел зал. Потом посмотрел на вход, где по-прежнему топтался серый сутенер в сапогах...

Оркестр шумно и облегченно вздохнул последний раз и с легким, сухим звоном медной тарелки стих. Парочки тут же остановились. Замерли. И, увидев, что оркестранты расходятся, чинно, механически стали передвигаться по зале и садиться, каждая парочка за свой столик. Так заводные куклы возвращаются, каждая в свою коробку. Балеринка, протанцевав в табакерке, замирает, открывается в этот миг ящичек, она падает туда, в аккуратное, точно ей по фигурке, отделение, и крышка захлопывается.

Им принесли второе. Неаппетитная, в мелких темных крошках котлета называлась "Спутник". С отвращением Родион стал есть. Напиток под названием "гранатовый" действительно сильно отдавал какой-то фруктовой эссенцией. Водка кончилась. Он пошарил взглядом по зале. Официант возник из ниоткуда, опять тускло отсветил пробормотом и, как по волшебству, через мгновение поставил перед Ро-

дионом точно такой же второй некрасивый штофик. Далеко было водке в нем до чистой слезы. Толстое, плохое стекло казалось мутным, заляпанным. В этом графинчике сама хрустальная душа вина выглядела бы в лучшем случае бесцветной жидкостью...

Перед глухонемым тоже появилась вторая порция спиртного. Родион не заметил, когда тот успел дозаказать. На бумажке ничего не писал... "Наверное, — подумал он, — телепатия и существует в таких вот случаях".

Они налили по рюмке, кивнули друг другу и молча выпили. Глоток битым сухим стеклом посыпался вниз, потом стал плавиться и потек по жилам в стороны от желудка. Кровь горячо взметнулась вверх, к голове. Он почувствовал, как загорелось лицо, в носу стало жарко и сухо. И будто нырнул он в прозрачный аквариум. Уши заложило, и звуки разом пропали. Теперь от всех и всего его отделила толстая прозрачная стена. Она и глушила звук. Стало совсем тихо. Только сама тишина слегка шипела в ушах. Он прислушивался к ней и стремительно погружался все глубже. Прозрачные стены быстро раздвигались. И вот он в огромной пустоте, под куполом. И тишина... Так вот какой мир у глухих. Как рыба в аквариуме. Тихо. И слушаешь, слушаешь беззвучие. За толстой, прозрачной стеной шевелятся, губы. Кто-то беззвучно и мягко тычет стальной вилкой в тарелку. Как войлочный, неслышно дергается колокольчик у председателя...

Тихо. Издалека Родион видел, как рассаживались вновь оркестранты. Вот ударник поднял руку и ударил по тарелке щеткой. Но звука не вышло. Звук выключили. Он снова ударил, потом стал ритмично поднимать и опускать щетки, ударяя ими теперь все время. Внизу ритмично дергалась нога, и черная колотушка так же беззвучно била в большой барабан. Двигались ноги у парочек, возникших из своих ниш и углублений. Рядом командировочный неслышно водил сталью ножа по скользкой тарелке.

Сознание его заключено было в прозрачное толстое стекло. И в тот миг как черная колотушка прикасалась к упругой коже барабана, оно становилось еще толще, неслышно

вырастали невидимые стены и звук пропадал, проваливался в прозрачную вязкую пустоту...

Кто-то стучал, стучал у далеких дверей. Недоумевая, он прислушивался. От входа, издалека долетела неясная волна звуков. Кто-то стучал, и мир глухих откатывался в сторону. Стремительно сближались, схлопывались толстые, прозрачные стены...

Рев рванул барабанную перепонку. Яростно звякали и скребли вилки. Нож пронзительно, нечеловечески визжал. Командировочный водил им по бифштексу, как водят напильником по стеклу. Оркестр стонал. Черная колотушка методично долбила круглую кожу барабана, и гулко разносился удар. Дыры в пространстве вокруг Родиона затянулись, и звуку некуда было проваливаться. Он носился, гудел, звякал, сам себя усиливал, затухал... Так бесятся волны в замкнутой бухте. Летят, коротко и зло оттолкнувшись от берегов, навстречу друг другу.

Стучался глухонемой. Он тряс его за рукав и, улыбаясь радостно, всеми жилками, просил обратить внимание на листок.

Родион вернулся на землю. Пошел, открыл вход и с интересом взглянул на четкие, нервные штрихи.

"Вы бывали в Мавзолее?" — стояло на листке.

Родион снова снисходительно усмехнулся про себя и написал короткое:

"Нет".

Немой живо схватил листок и тут же вывел стремительное: "Почему?"

"Я не любопытен", — написал Родион неизвестно почему с некоторой издевкой в душе и насмешкой над собеседником.

Глухонемой прочел, глянул на него внимательно своими умными, живыми глазами. Потом снова прочел, подумал и быстро написал:

"Я был. Один раз, с Лениным и Сталиным вместе".

Родион скользнул по написанному взглядом и молча кивнул. Оркестр в этот миг в последний раз глухо рявкнул и стих. Пары, как восковые куклы, тут же застыли.

Командировочные вокруг тоскливо и зло пили водку. Ножи многозначительно позвякивали по тарелкам.

Листок опять легко скользнул к нему.

"Хрущев выбросил Сталина из Мавзолея", — нервно, но очень четко неслись буквы.

"Ого, — подумал Родион, — Как ты заговорил. Нет, это уже не детская беседа. — Возникла мысль: — Неужели и они, глухонемые, все-таки участвуют, интересуются, знают про все..." — Эта мысль показалась ему до чрезвычайности нелепой. Нет, не по правилам пошла дальше беседа, и...

Он ничего не написал в ответ.

Тогда листок снова метнулся к нему.

"Где похоронили Хрущева?"

"На Новодевичьем кладбище".

"Не у кремлевской стены?"

"Нет".

Глухонемой прочел и о чем-то задумался. Думал он довольно долго, потом энергично задвигал мышцами лица и быстро написал:

"Мне говорили, что у кремлевской стены".

"Нет, на Новодевичьем", — уже равнодушно вывел Родион.

"Вы там были, на его могиле?"

"Нет, не был", — написал Родион.

Он стал уставать от этой игры с листком и могильной тематики. Дурацкий разговор получался. Устал, видимо, и глухонемой. Беседа угасла. Они помолчали. Вновь застонал оркестр. Черная круглая колотушка ритмично задергалась. Потемневшая кожа барабана глухо загудела. Бум, бум, бум. Воск начал плавиться, и фигуры задвигались.

"Хрущева не любили", — вывернулся откуда-то сбоку листок.

"Не все, — написал Родион и усмехнулся. — Странное наступило время. Всех о политике так и тянет поговорить. Истосковались в своей глухоте и немоте", — он снова усмехнулся и протянул листок своему визави.

Глухонемой внимательно, неторопливо прочел.

"Он сделал много плохого", — написал он подумав.

Они выпили по последней.

"Господи! — подумал Родион. — И тут сталинисты".

Взял ручку и написал:

"Еще больше Хрущев сделал хорошего!"

"Он развалил сельское хозяйство", — тут же отозвался стремительными буквами глухонемой и стал следить за пером. Родион разозлился и на этот раз писал долго. Даже взял другой листок.

"Он пришел, — писал он, — к разбитому корыту. Нечего было разваливать. Все ему можно простить и списать — за одно. За то хотя бы, что у нас с вами наконец появилась возможность вот так свободно, спокойно, не оглядываясь поспешить и поговорить обо всем этом".

Он подвинул листок глухонемому. Тот внимательно, еще внимательней, чем раньше, прочел. Потом еще раз. Поднял потеплевшие глаза, радостно закивал и засмеялся. Потом быстро и незаметно, несколько раз оглянувшись и, неожиданно, скомкав салфетки, разорвал их на мельчайшие кусочки.

Родион, опешив, молча смотрел на него. Тут оркестр в очередной раз смолк. Глухонемой вдруг заторопился. Официант, тускло блеснул пробормотав, получил с него и отошел. Резко, порывисто глухонемой встал. Голова чуть свесилась вперед и явственен стал уродливый лоб. И только горячечные, нечеловечески выразительные глаза, подернутые тайной мукой или тоской, жили, жили.

Они протянули друг другу руки. Попрощались. Потом он аккуратно, быстро собрал все кусочки салфеток и несколько раз доверительным жестом, украдкой показал, объяснил Родиону, что он выбросит, уничтожит это. Пусть Родион не беспокоится. И стремительно пошел к выходу.

Кот в поддевке, приплясывая, отступил, и дал немому дорогу, и, как показалось Родиону, внимательно посмотрел в его сторону.

Оркестранты отдыхали. Застыли и парочки в ожидании. В зале катился негромкий говор. Отчетливо звякали ножи и вилки за соседними столиками. И командировочные поглядывали на Родиона.

"А что, если глухонемой не выбросил листки?" — нелепая мысль возникла как-то помимо его сознания, будто чужой незаметно вложил ее в голову.

И неожиданно ему стало не по себе. Он прислушался настороженно к негромкому говору вокруг. Украдкой огляделся и тоскливо подумал: "Официант". И тут же перед ним возник внимательный, тусклый пробор. Родиону стало жарко. Он быстро и резко поглядел в лицо официанту, но тот с деланным равнодушием смотрел в сторону и ждал. Родион снова украдкой бросил взгляд по сторонам. Столики демонстративно не обращали на него внимания. И от этого он ясно теперь почувствовал, что столики следят за ним. И все время следили. Только делали вид, что не замечают.

"Кто они, эти переодетые командировочные? — устало подумал он. — Распорядитель в поддевке?.."

Официант пошевелился и посмотрел Родиону прямо в глаза.

— Принесите еще водки, — неожиданно для себя, хрипло и тихо, попросил Родион.

ГРИБ

— Я подсяду к нему.

— Что за этим следует?

— И притворюсь им же. Сыграю его роль и попробую войти в контакт. Одни и те же даже растения могут подружиться. Ну, а потом... примером или еще как-то заставлю есть и пить...

— Действительно просто, как все гениальное. К сожалению, одной простоты для гениальности мало. Слишком просто, дорогой Борис Владиславович.

— У нас нет выхода.

— Выхода — нет. И когда вы собираетесь это сделать?

— Сейчас же. Если вы дадите согласие. Его привезли ночью, и меня должны ввести к нему ночью. Не исключено, возникнут ассоциации.

— Не нравится мне ваша затея. Но выбора действительно нет. Желаю успеха, — главврач усмехнулся, — ну, и спокойной ночи, конечно, — добавил он.

Борис встал, откланялся и вышел. Больница спала. В затемненных коридорах скользили редкие шорохи. Стоны слабо доносились из палат. Больница, как все, и в то же время ни с какой другой не сравнимая.

Больница для душевнобольных. Место, где лечат человека душу. Хотя, кто знает, что такое душа...

Он спустился по лестнице вниз, в подвал, туда, где располагались четырехугольные, за тяжелыми дверьми смиренные камеры. Смирительные... Странное и страшное это слово "смирительные". Обиты мягким стены, пол, потолок. Ни звука снаружи. И внутри — человек... а может быть, уже и не человек, а так. Больной, искаженный мозг, заполняющий мягкую клетку, мечется, бросается на упругие стены, либо... тихо и горестно, безмолвно сидит в углу.

Он зашел в дежурку. Снял халат, разделся, надел приготовленное заранее больничное обмундирование. Два санитары ждали его приказаний. "Нелегкая у них работа", — подумал Борис. "А у тебя?" — тут же шепнуло внутри...

Случай не был из ряда вон выходящим. Человек вообразил себя грибом и оттого, что у гриба нет рта, он отказывается есть и пить. Третьи сутки. А дальше четвертые пойдут, пятые... потом он умрет от жажды и истощения. Вот и все.

Он вздохнул, повернулся к двери и, молча кивнув головой санитарам, направился в коридор. Санитары следовали за ним. Вот один из них забежал вперед, достал ключ. В тишине лязгнул засов. Дверь бесшумно распахнулась, и Бориса втолкнули внутрь. Снова лязгнул засов, и все стихло.

В коридоре было темно. Здесь же рассеянный, мягкий, но довольно яркий свет ослепил его, и он не сразу рассмотрел сжавшуюся в углу фигуру человека.

Маленький, съездившийся, тот сидел на полу, подтянув к подбородку ноги, и смотрел широко открытыми глазами куда-то мимо Бориса, в направлении одному ему ведомой точки.

На вошедшего он не обратил ни малейшего внимания. Борис сел в противоположном углу и приготовился ждать.

Неожиданно человечек, не меняя выражения, не шевелясь, открыл запекшийся рот и тихо, с хрипотцой произнес:

— Я гриб.

И снова застыл. Прошло несколько томительных минут, прежде чем он опять открыл рот, и та же фраза хриловато и ровно прозвучала в тишине камеры... Затем он встрепенулся и, захлебываясь, забормотал:

— Я гриб, я гриб, я гриб...

Глаза у него засверкали, но тут же погасли, и он впал в оцепенение. Взгляд опустел и устремился в ту же невидимую точку...

Борис выждал немного и после очередной фразы "я гриб" тоже проговорил:

— Я гриб.

То ли от волнения, то ли по другой причине голос его прозвучал хрипло и дико.

Человечек не отреагировал, не пошевелился. Лишь минуты через две он снова пробормотал:

— Я гриб...

Борис тут же отозвался:

— Я гриб.

Затем наступило очередное возбуждение. Хриплый шепот:

— Я гриб, я гриб, я гриб...

— Я гриб, я гриб, я гриб, я... — в свою очередь забормотал Борис.

Молчание. Через равные промежутки мерно, как похоронный звон, капала одна и та же фраза. Потом наступало возбуждение, горькое, страстное бормотание. Потом снова надолго воцарялось молчание...

К утру он задремал. Проснулся неожиданно, резко... открыл глаза. Человечек сидел прямо перед ним и злобно щерился, глядя в упор на Бориса. От испуга у Бориса заглодело внутри и резко вспотели ладони.

— Ты не гриб, ты не гриб, ты... — с ненавистью забормотал человечек, не спуская с него глаз, — ты нож, ты нож, ты пришел меня срезать...

Вдруг глаза его помутнели от страха, он судорожно отполз в свой угол, забился в него и подрагивающим голосом заныл:

— Я гриб, не срежай... Я гриб, не срежай...

— Я гриб, — громко и отчетливо проговорил Борис. — Я гриб!

Но больной уже впал в оцепенение, успокоился и снова устремил взгляд в пустоту. Через минуту он меланхолически произнес:

— Я гриб...

Борис отозвался.

Через минуту снова:

— Я гриб...

— И я гриб...

Затем момент страстного бормотания:

— Я гриб, я гриб, я гриб...

Лязгнул засов. Дверь отворилась, и вошел санитар. Молча поставил воду в металлической легкой кружке, вопросительно взглянул на Бориса и вышел, тяжело вздохнув.

— Я гриб, мне нужно много воды... Я гриб, мне нужно много воды, — громко заявил Борис.

Больной был безучастен. Через полминуты отозвался:

— Я гриб...

— Я гриб, мне нужно м н о г о воды, — настойчивее повторил первый.

— Я гриб, — равнодушно констатировал второй.

Борис не выдержал, взял кружку и сделал жадный глоток.

— Ага! — радостно заорал вдруг человек. — Ты не гриб! Ты не гриб! Грибы не пьют, они всасывают, всасывают...

Борис разозлился.

— Ножи тоже не пьют и не всасывают! А грибы — как раз пьют! А если и всасывают, то тоже пьют!

Он зло посмотрел на человечка и сделал еще один демонстративный глоток.

Человечек облизал ссохшиеся губы и недоверчиво посмотрел на него.

— Ты же льешь, — тоскливо сказал он, — а мне — нечем. У меня нет рта. А корешки еще не выросли.

— Не всем грибам нужны корешки, — веско и авторитетно заявил Борис, — мы с тобой грибы особые, у нас не корешки, а дырочки, через них и всасываем...

— Я обычный гриб, — отозвался уныло человечек. — Это ты — необычный, а у меня должны быть корешки.

Он пошарил глазами по сторонам и снова впал в забытие, повторяя через равные промежутки, что он гриб, периодически возбуждаясь в горячем шепоте, и уже не реагировал на Бориса.

Прошло несколько часов. Снова пришел санитар и принес очередную кружку с водой, забрав выпитую Борисом. Молча вышел. Лязгнул запор на двери...

Борис почувствовал, что ему становится не по себе. Он недооценивал сложности своего положения. Теперь, казалось ему, что время бесконечно растянулось. Тишина раздражала, наполняла гулом уши. Периодически повторяющееся "я гриб, я гриб, я...", как капли воды, долбили мозг, растекаясь ужасным напряжением по нервам...

"Капля камень долбит, — мелькнуло у него в голове. Насколько его хватит?"

Человечек снова замолчал, уже надолго, и неожиданно спросил тихим голосом:

— Где я?

Глаза его смотрели осмысленно, в них был испуг. Борис молча быстро протянул ему кружку с водой. Тот захлебываясь начал пить. И вдруг его вырвало.

— Я ведь гриб! — горестно вскричал он и снова впал в оцепенение.

Затем все повторилось сначала.

* * *

Борис Владиславович не любил вспоминать, как закончился этот "эксперимент". Да и не все он помнил как следует. Помнил лишь, что наступил вечер, потом ночь... Машинально он повторял вслед за больным "я гриб" и приходил в нена-

игранное возбуждение, судорожно бормотал в исступлении вместе с ним: "я гриб, я гриб, я гриб, я..."

Но чудо свершилось. Больной поверил, что он тоже особый гриб, и начал всасывать через дырочку. Так длилось много суток. Потом уже, день на двадцатый, он, видимо, ощутил резкий приступ голода и согласился, что гриб — и соли, и еще кое-что должен поглощать, как все растения и грибы...

На этом Борис его и покинул, и уехал отдыхать; сам с довольно тяжелым расстройством.

По приезду он узнал, что дела у больного идут на поправку, но главврач посоветовал:

— Вы, Борис Владиславович, не показывайтесь ему на глаза. У него сейчас редко бывают приступы, но, когда бывают, он тоскует о вас, и ваше появление может вызвать нежелательные рецидивы. Кто его знает, быть может, грибам лучше живется, чем нам, грешным, — добавил он с грустной усмешкой. — Вас он считает своим единственным настоящим другом-грибом и в самом деле тоскует...

Борис молчал. О чем, собственно, было говорить. Не сообщать же главврачу, что и он часто вспоминает больного и тоже тоскует... Почему? На этот вопрос он ответить не смог бы. Наваждение какое-то. А может быть, все много проще. Ведь привязываешься, и любишь, и тоскуешь по тому, в кого вложил себя. И чем больше, тем сильнее тоскуешь.

* * *

Был вечер накануне Нового года. Стоял крепкий декабрьский мороз. И люди, кутаясь в шарфы, подняв воротники, мчались в праздничном возбуждении. Борис Владиславович толкнул заиндевелую дверь магазина. Народу — битком. Выругал себя за то, что раньше не купил что следует, и пристроился в конце длинной, галдящей очереди.

— Вы последний? — спросил позади него голос.

Машинально Борис ответил. Затем извинился, сказал, что сейчас подойдет, ринулся к прилавку посмотреть, что там дают...

"Ни черта нет!" — с досадой подумал он, возвращаясь на место. Где он слышал этот голос? Мельком, но внимательно глянул на закутанного в шубу человека позади него, и... разом вспомнил... Даже вспотел от неожиданности этой встречи. А тот, видимо, тоже почувствовал что-то и забеспокоился. Во всяком случае, когда Борис Владиславович, не в силах сдерживать себя, снова повернулся, то встретил у него во взгляде беспокойство и вопрос: "Мол, что вам нужно?"

— Вы помните меня? — неожиданно для себя спросил он. Кровь яростно толкалась в ушах, пытаюсь выскочить...

Человек в шубе улыбнулся кисло и довольно холодно ответил:

— Нет. Вы меня с кем-то спутали, — в глазах у него появилось отчужденное, неприязненное выражение.

— Неужели не помните? — кровь прилила у Бориса Владиславовича к голове еще сильнее...

— Нет, я вас не помню, — отчетливо произнес стоявший за ним. Затем, поджав губы, человек отвел глаза, дав понять, что разговор их закончен.

— Но неужели не помните? Послушайте, тогда мы вместе... Тот зло и холодно посмотрел на него в упор.

— Вы спутали меня с кем-то, — повторил он. — Что вам надо?

Колющая детская обида вдруг вспыхнула внутри у Бориса Владиславовича.

Наклонился он к уху человечка и тихо, но отчетливо, прошептал:

— Я гриб, — и отпрянул — так резко тот повернулся, так бешено блеснули глаза и... неожиданно поник, лицо помертвело. Вцепился Борису в рукав пальто и страстно, судорожно забормотал, захлебываясь от рыданий:

— Я гриб, я гриб, я гриб, я...



СЛОВА - ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

* * *

Кричи, не кричи — не докличешься детства,
В пыль стерты тех стартовых дней башмаки,
Во взрослых ботинках в былые соседства,
В азарт малолетства идти не с руки.

Осталось вертеть, любознательно щурясь,
Той жизни расцвеченной калейдоскоп,
В которой обиды являлись как бури,
Но не было слов "западня" и "просчет".

Лишь щеки в смеющемся зареве бега.
Лишь щелки в зареванном детском лице,
Когда изловили врага-печенег
Соседские витязи-удальцы.

Соседские витязи — кожа да кости,
Ключицы и ребра — почище кольчуг,
Мои печенег, варяжские гости,
Чекисты, фашисты, Роб Рой, Чингачгук.

Вяжи, не вяжи — всех обид не увяжешь,
Круг детских друзей — заколдованный круг,
И всех твоих горе-владык не уважишь,
И всех твоих пленных не сбудешь вдруг с рук.

Ах, звери лесные, мои однокашки,
Куда вас забросило? Где вы и с кем?
Предательский след голубой промокашки
На ваших губах потерялся совсем.

Что смажете чудо-строители новой
Жесткой и жесткой звериной тюрьмы
О радужном детстве с весенней обновой,
С рогаткой и с веткой лесной бузины?

Печалиться? Но ведь для этого память
Какая нужна! Не печалиться — грех.
Мы только во сне шевелим башмаками
С кривыми шнурками на месте прорех.

Лепиться к ближайшему — это и свойство
И смысл многочисленных зрелых миров.
Простите, двурушники, за беспокойство.
О радостном детстве красивых вам снов!

ДЯДЬЯ

Домочадцы распаляются —
Слишком пир пошел горой,
Уплывают и прощаются
Деревянной рукой,

Кто уже ерошит волосы,
А другой вином разит,
И ломающимся голосом
По соседу егозит,

Трое желтых суток жаждущий
Огрызается комод,
Трое желтых суток страждущий
Матерится банкомет,

Отбивая трефы пиками,
Ржет зубастый дядя — черт,
Двоезубой вилкой тыкая
В закругляющийся торт,

Родовитым прошлым хвастает
Дед — калужский адвокат,
И телятину зубастает
Под картинный хохот карт.

Мне бы самую желанную
Голубую даму пик.
Мне бы тетеньку жеманную
Завести в трэфной тупик.

Но дядя калужским пряником
Лезут водку заедать,
И возникшего племянника
Не хотят опознавать.

* * *

А может быть, слова — живые существа,
Рождаются, поют и умирают,
Лишь иногда пронзительно вздыхают,
И надевают маску шутовства.
Такие хитрые живые существа.

А мы за лица принимаем маски,
Цвета живые звуков — за мазки,
Заносим в словари и по указке
Выстраиваем скучные полки.

Поэты снова путают слова,
От лозунгов кружится голова,
А проза ни жива и ни мертва.
Такие хитрые живые существа!

СТАРЫЙ КОЛУМБ

Нет, не радетельно — рыдательно
Прильну к знакомому глазку
Трубы подзорной, что страдательно
Ревнует небосвод к виску.

Расплывчатая слов действительность
К гортани подплывет комком.
Когда коснется глаз губительно
Воспоминаний тех тайком.

На грани храбрости и хрупкости
Всем траекториям вразрез,
Противу грубости и глупости
Пойдет зрачок наперерез.

И будут взглядом вновь отмечены
Провалы пасмурной воды,
И облик незнакомой женщины,
И незнакомые плоды...

Зачем? Ведь памяти обещано
Не беречь старинных ран.
Не бредить и не рзаться бешено
По бликам через океан, —

Но тянет, тянет вновь заглядывать
Нас в прошлое туманный рок, '
Опять трубу к глазам прикладывать
И памяти давать зарок.

ВДОХНОВЕНИЕ

Немой рояль, и светлый холод клавиш,
И жаждающий рождения прелюд,
Когда внезапно музыкой прильют
Все звуки и не схлынут, не оставят,

Пока не выразишь, не воплотишь,
Не выплеснешь немного их звучанья,
Их муку напряженного молчанья
В ликующий аккорд не превратишь.

О, этот миг торжественный вторженья
В немой поток созвучий до конца,
И в черном холоде рояля отраженье
Мелодией размытого лица.

ТЕАТРАЛЬНАЯ НОЧЬ

Ночь— караульщица бойких поклонниц,
Верю: не красного ради словца
Лезет толпа одичалых бессонниц
След твой стереть поскорее с лица.

Наскоро крашенный холст и притворство —
Весь легкомысленный твой реквизит.
Ночь, ну откуда такое проворство —
Бурный из жизни в искусство транзит?

Хоть и не всякая дочь — Навсикая,
Вдруг: озаренья зеленый сквозняк,
И на подмостках шутя возникает
Древних трагедий слепая возня.

Этих вопросов наивная детскость,
Этих ответов ну явная ложь
Вдруг превращает в действительность действо,
Вздых вырывая у кресел и лож.

Как же ты, ночь, этот замысел чувства
Можешь из вечера в вечер таскать
И, заманивши в ловушку искусства,
Нас до бессонницы не отпускать?

Силой каких непонятных наитий
Можешь заставить свои типажи
Дергать причин бутафорские нити,
Вновь заставляющих вымысел жить.

Так, что заманенный в плен декораций
Зритель, что в жизни слезы не прольет,
Пламенем древних страстей возгораться
Будет весь зимний сезон напролет.

* * *

Решено! Путь задуман не близкий.
Собирай попроворней монетки!
Еще рано удрать в одалиски,
Уже поздно податься в монашки.

Кинь монетку— орел или решка?
"Офицер, совершите нелепость,
Проведите красавицу пешку
Королевой к противнику в крепость".

Если есть красота и старание,
В королевы любая целит,
Не дано им лишь знать заранее
Как несчастлив достигший цели.

Если б знали слоны-кавалеры,
 Если б знали слонихи — их самки,
 Как тревожно живут королевы
 В осажденном и гулком замке,

Где король, блестя глаз лакировкой,
 Видит мир в черно-белую клетку,
 И от страха уйдя в рокировку,
 Плачется королеве в жилетку.

Лия ВЛАДИМИРОВА

МОЯ ДУША - МОЯ РАБОТА



Слово просится само,
 Но боюсь я повторенья.
 Я берусь писать письмо,
 А пишу — стихотворенье.

Все хочу я уловить, —
 Вот и медлю над листками, —
 Голубеющую нить
 За сплошными облаками!

* * *

Пахло осенью и снопами.
 Помню: мама, двор, тополя...
 Вам пишу на добрую память,
 Думы легкие шевеля.

Листья все шуршат под шагами,
 Там, под Нарой, леса, поля...
 Земляницей, крыльцом, снегами
 Или детством пахнет земля?

31.10.76

* * *

Архивов легкие пуды
 Все ждут в пыли, все просят света.
 Какие же еще труды
 Иль труд возможен у поэта?

Смотрите, вот черновики:
 Моя душа, моя работа.
 Здесь целой жизни дневники,
 А все сказать хочу хоть что-то... 30.10.76

* * *

Ну что поделаешь с мечтами,
 Которые, как явь, ясны —
 Что в самом деле между нами
 Вовеки не было стены!

Одно заветное желанье —
 Дышать, и верить, и любить.
 В моих стихах воспоминанье
 О раннем детстве, может быть.

А все ж дышу на самом деле,
 И все прошу я: — позови,
 Судьбу, намеченную еле,
 Согрей вниманием любви.

Еще пугает отречение,
 Еще терзают холода,
 Как слов бестрепетных свеченье:
 "Оставь надежду навсегда".

Так жизни ждать! Так звать — сегодня
 Все тот же полдень голубой!
 Полет снежинки новогодней
 Живей иллюзии любой.

Друзьям так часты посвященья.
 Из лести? Нет. Из страха? Да...
 Что я одна, без возвращенья,
 Вся в никуда и в никогда.

А может быть, стихи простые
 Тебе все скажут без прикрас.
 Могу ль, скажи, без доброты я,
 Без нежности прожить хоть час? 13.11.76

* * *

И много ль надо песне пленной?
 Одной достаточно мечты,
 Одной печали сокровенной,
 Одной сердечной доброты.

Вставала осень за домами,
 Шуршали листья под ногой,
 И я была как будто с вами,
 Но я была уже другой.

Все тот же медленный и плавный
 Разлет торжественной реки,
 И тихо думалось о главном,
 Без непогоды и тоски.

В блистаньи осени, в движенье
 Помедли, радость бытия!
 Не я меняла выраженье,
 Менялась только жизнь моя.

И я подумала в волненье,
 Что все ты понял в этот миг.
 Стихи!.. Стихия откровенья!..
 А не рабочий черновик. 6.10.76.



Анри ВОЛОХОНСКИЙ

СТИХИ С БАЗАРА

ЛОТКИ

Вот серый пар любви без наслажденья
Открыл нам ряд смешных метаморфоз —
Цереры пьяной сумеречных поз:

Вот — рыжий лук с зеленым продолженьем
Вот — боб с гнильцой со скуки произрос
Смиреньем превзойдя воображенье,

Там — с корнишоном каперсы плывут, —
Груз желтой репы валит гусь-корабль
На берега лиловых пуз кольраби
Тут — тыкваград и огурцередут,

Вон артишок под шляпой шампиньона
Ждет своего Катула иль Виньона

СТИХИ

С

БАЗАРА

И овощ — (чьи зады меж пшен и прос
Нелепые как земляная похоть
Цветут корнями выставясь по локоть) —
Кряхтит, не зачиная — супорос,

А невдали за ними дыни спины
Глядят боками сытой Прозерпины.

СЫРЫ И ПАШТЕТЫ

Чертя по брюху колоском
Полденную дугу
Мы соловьиным языком
Вам пропоем рагу

На небе есть полно телят
И не таких, как мы, —
Баранья рябь тетеревят
Молитвы и умы

— Зачем ты, жаворонок, сыр?
— Я пел мозги дрозда!
— Тебя упечь бы, право, в сыр —
Была б приправа — да,

К дроздам, к тетерям или — о!
К фазанам в янтаре
Чтоб в потрохах ревел Эол
И выл в чревах Борей

ТОЛПА

В обмен на шелест сладости и вонии
Доступных благ на простоватый вкус
Нам карусель в превратном перезвоне
Несет нам поцелуй в обмен на хруст
Молебном на вертящемся амвоне
О благодати для ноздрей и уст

В одном круженье — вера и награда
 Кружится чрева мокрый карнавал
 Под маской птицы рыцарь винограда
 Над серебром и пивом ликовал
 И околдован медом вертограда
 Кропит дождем кровавым зелень бал.

ЗВУКИ РЫНКА

Бубнит о полдень перезрелый жар
 Урчит желудка полная Валгалла
 Пегас кричит как утка, ржет базар
 Бормочут индюки и квохчут галлы.

Илья РУБИН

...ПРИКОВАН К ПУШКИНСКИМ РАЗМЕРАМ



* * *

Навек прикован к пушкинским размерам.
 Архитектуру образов моих
 Уже вчерне осмысливает стих.
 И золотое яблоко манеры
 Мужской ладонью облегает ямб.
 Слова-ханжи и строки-лицемеры
 Уже глотают паузу как яд.
 А чуть подальше гласные стоят,
 В толпе согласных делая карьеру.

Уже в партере рукоплещут боги
 И фейерверкам скучно без ракет...
 А бедный стих опять ломает ноги
 И разбивает руки о паркет.

* * *

Любимой женщины рука...
 Она тяжелая, как знамя,
 Когда губами и щеками
 Целуешь знамя у древка.

Неимоверно далека
Страна, оставленная нами...
А ты губами ловишь знамя,
Его обвисшие шелка.

Перед лицом черновика
Любовь, оставленная нами...
Я отражаю, точно знамя,
Идеологию штыка,

Идеологию полка,
Который бросил это знамя.
Ребята! не Москва ль за нами
Висит на острие штыка?

Прибалтика, 66 г

* * *

Памяти С. Бернштейна.

Слова слипаются в колтун
Перебродивших звезд:
Ты умер, маленький болтун?
Ты умер, бедный дрозд?

Ушел, как свет сквозь решето,
О рифмах лепеча.
Удрал болтать свое ничто
Христу из-за плеча.

Покинул горсточку пшена
И косточки гнезда,
Чтоб сквозь него светила нам
Субботняя звезда.

Мы по дороге к небесам
Болтали с ним не раз.
Мы жили по одним часам.
Да на кого ж ты нас?!

Звезда стучится мне в висок.
Укоры я пишу.
И слышу тихий голосок:
— Прости. Но я спешу...

28.1.73.

АРХИМЕД

Убийство только намечалось
Неясной горечью побед.
Оно, как яблоко, качалось
В руке убийцы. Архимед

Еще работал, театрально
Откинув волосы со лба.
Потусторонней пасторалью
Его баюкала судьба.

Но это дальнее начало
Еще не ведало конца.
Убийство только намечало
Одушевленного творца.

Пока убийца неприметный,
Сопя, дожевывал обед,
Все совершалось. Но при этом,
Не забывай, что Архимед
Еще работал. И печально
Его склоненного плеча
Касалось вечное молчанье.
Чугунный профиль палача.

Уже рисуется нечетко
На фоне моря и песка
И барабанная чечетка,
Как жилка, бьется у виска.

И окончательно опознан
Был этот полдень. Убывать
Он начинал и принял позу,
В которой проще убивать.

Пора, очнувшись от наркоза,
Ему себя осознавать
Уже томила эта поза
И начала перезревать.

Уже предчувствий было мало.
О завершении крича,
Секунды медленно и вяло
Текли по лезвию меча.

И все же солнце было прежним,
И безмятежно ярким свет.
Откинув волосы небрежно,
Еще работал Архимед!

* * *

Пока долюбливали, пили,
Чужое брали за свое.
Неуловимый запах пыли,
Как пот, пропитывал белье.

Пока тревожились, потели.
Рока неопытность кляли,
Любовь в сумятице постели
Устало жаждала земли,

Так неумело все кончалось...
Начало было позади.
Нательным крестиком качалось.
Стучало около груди.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯиМЫ

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.

Без малого сорок лет назад прибыл д-р Эльдад в Эрец Исраэль, имея за плечами опыт подпольной работы в рядах сионистского движения. Когда германские и советские войска вторглись в Польшу в сентябре 1939 года, рассказывает И. Эльдад, я скрывался сначала в Галиции, затем в маленькой деревушке около Вильно. Жил вместе с Менахемом Бегиним. Однажды играем мы в шахматы. В середине игры — "шах!", но тут пришли русские и арестовали нас. Кто-то из нас заметив, ну что ж, окончим игру в Эрец Исраэль. Тогда в это трудно верилось.

Кстати, добавляет с улыбкой Эльдад, я прибыл в Израиль в 1940 году из Вильно через Москву. Когда-то я спорил с коммунистами о различии между мной и ими. Я говорил им: я иду в Иерусалим. Если мне надо будет попасть туда через Москву, я пройду через нее. Для меня Москва — путь, для вас — цель. Вы идете в Москву через Иерусалим, я — наоборот, возможно, мы встретимся в Москве.

Д-р Эльдад был одним из основателей и идеологов "ЛЕХИ" ("Лохамей херут Исраэль" — Борцы за свободу Израиля). — крайней патриотической группы, действовавшей в подполье против британских мандатных властей. Он был арестован и сидел в английской военной тюрьме. Затем бежал из нее, получив тяжелую травму при побеге.

Принципиальность не облегчала его жизненный путь. Четверть века назад, говорит Эльдад, я пробовал заняться преподаванием, но был дисквалифицирован Бен-Гурионом. Он заявил, что я и в грамматику способен внести политику. Между нами говоря, он был прав. Однако я подал на него иск в Высший Суд Справедливости и выиграл дело против Бен-Гуриона, но работы так и не получил.

Если я люблю и занимаюсь Ницше, естественно, что я немного индивидуалист, говорит Эльдад. К Ницше я пришел, по-видимому, потому, что есть нечто сходное с его взглядами в моем характере: индивидуализм и склонность к волюнтаризму.

Ницше — оптимист, философ чистых и цельных натур. Я учился у Ницше оптимизму, пройдя через ад пессимизма Шопенгауэра! О Шопенгауэре я писал свою докторскую работу. Перевести Ницше на иврит было всегда моей мечтой. Сейчас завершён перевод 7 томов его сочинений. Самое удивительное, это та из ряда вон выходящая быстрота, с которой были распроданы первые тома моего перевода. Это — хороший знак. Наша молодежь, пройдя через нигилизм и отрицание, ищет ценности. Ницше дает ей дух бунтарства, что так важно в борьбе против зла наших дней — ужасного конформизма.

Я пришел к Ницше не потому, что верен ему, а потому, что верен себе. Верен в том смысле, как требовал Ницше.

Доктор Эльдад действительно верен себе. Мы предлагаем читателю его мысли о демократии в Израиле. Мысли, как всегда, острые, спорные, парадоксальные, но заслуживающие безусловного внимания. Свободная точка зрения в свободном журнале. Б.О.



Д-р Исраэль ЭЛЬДАД

В СВОЕМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

В разные эпохи говорят о разном. Сейчас принято говорить о демократии. Ее утверждают, защищают, возрождают, обвиняют. Любой заезжий агитатор разъяснит вам на пальцах ее принципы и сущность, Я не намерен утруждать читателя теоретическим трактатом и начну с вещей конкретных и прозаических. Однако они, несомненно, имеют прямое отношение к демократии в Израиле.

Я имею в виду гарантированное демократией право на забастовку и тот забастовочный шквал, который сотрясает и без того неустойчивую израильскую экономику и ведь общественный организм нашей страны. Недавно в Технионе, где я преподаю историю сионизма и историю подполья, должна была начаться забастовка профессоров и лекторов. Готовился, а затем начал забастовку один из высших интеллектуальных кланов современного общества. Я объявил, что не участвую в забастовке. Я попросил, прийти студентов и начал свои занятия с заявления, принципиально отрицающего профессиональную забастовку интеллектуалов. Я не выступаю против любой забастовки и когда-то сам участво-

вал в них. Например, тогда, когда сидел в английской тюрьме. Но это всегда были забастовки идейные и политические.

Я никогда не бастовал за материальные блага. Не то чтобы я был особый бесребреник или доказывал, что люди интеллигентных профессий получают здесь достаточную заработную плату. Скорее, напротив многие профессии, не требующие напряжения ума, оплачиваются у нас лучше, чем преподавание в университетах.

Представителям таких профессий я не завидую. Я вообще не завидую уборщику мусора или почтальону, который получает больше меня. Мне безразлично, что он получает больше, потому что я слишком уважаю свою работу и оцениваю ее теми деньгами, которые я получаю, а не теми, которые получает мой сосед, работающий метлой на улице. Это не значит, что я не нуждаюсь в деньгах, каждый нуждается в минимуме. Но моя работа такого рода, что, если дадут мне десять тысяч в месяц, я не стану подметать улицы или разносить письма. Я не буду это делать и за 100 тысяч, потому что я ценю свою работу и работаю не только для того, чтобы получать за нее деньги. Предпосылка, что работа лектора и инженера, врача и психолога есть продуктивная работа и что она равна не только деньгам, — первое, что удерживает меня от участия в профессорских стачках.

Второе соображение не менее существенно. Я не могу потребовать ни от уборщика улиц, ни от разносчика писем какой-либо коллективной ответственности за будущее государства. Каждый из них — простой смертный, каждый — человек, имеющий семью, детей. Ему некогда думать. Он хочет жить, ходить на футбол, смотреть телевизор. Получив на 500 лир больше, такой человек пойдет и купит то, чего у него нет. Он не обязан думать о том, что будет завтра или послезавтра.

Иное дело люди, считающие себя элитой современного общества. От интеллектуала я требую более широкой перспективы, интеллектуал должен знать, что от кого он требует и кому за что предстоит расплачиваться. Когда мы говорим: "Человек с высшим образованием", то вправе от него потребовать, чтобы имел он более высокий разум, чем, ска-

жем портовый грузчик. Интеллектуал обязан думать о том что будет послезавтра. Я совсем не говорю об аспектах государственных или национальных. Достаточно личных. Каждый из нас знает, насколько личная судьба связана с общей.

Если ты сегодня вырвал в результате забастовки дополнительно 500 лир, не радуйся прибавке. Твоя радость преждевременна. Кто-то должен будет оплатить это завтра или послезавтра. Если это будешь не ты сам, так это сделает твой сын. Далеко искать не придется. Но почему профессору забастовщику надо объяснять, что нет в стране больших природных богатств, нет большой возможности производства. Покрыть завоеванную в "классовой борьбе" прибавку можно только мощностью печатного станка, выпускающего деньги. Значит, завтра станем попрошайками и будем кланчить деньги у мирового еврейства. Значит, усилиться зависимость от американцев, и кто-нибудь неизбежно явится навязать нам политический диктат: уступить, отдать, вернуть, потесниться! Нечего церемониться. В той степени, в какой я независим экономически, я могу выстоять и в других областях. Слабых теснят, немощных принуждают.

Надо ли объяснять интеллектуалу, что ученая степень не просто титул, но мера сознания. Пусть будет хотя бы эгоистом. Я — эгоист и думаю о расплате, предстоящей в недалеком будущем моему сыну. Из побуждений эгоистических я против забастовок.

Есть, наконец, третья причина, заставляющая меня отказываться от забастовки. Она лежит в национальной плоскости и связана с изменениями национальных концепций, с которыми я решительно не могу примириться. Нередко я задаю себе вопрос: что случилось с нами, что произошло за тридцать лет, прошедших с момента основания государства? Ответ однозначен — изменилась перспектива. У общества в целом, у поколения заложившего основы нашей государственности и, наконец, у молодого поколения сложилось какое-то чувство нормализации. Действительно, существует государство Израиль: политика, экономика, парламент, выборы. Все как у всех; чего-то больше — чего-то меньше, немного

лучше — немного хуже. Словом — государство! Ошибка произошла оптическая, мировоззренческая. Случилось то, что я называю деснионизацией государства.

Герцль говорил о сионизме как о государстве в пути. Это громадное, невероятно глубокое представление. Герцль высказал его тогда, когда еще мечтал о государстве. И вот мы уже государство, но еще в пути, если мы верны целям сионистского движения. А если нет, если остановились для нормализации и стали как все — тогда государство Израиль целей сионизма не осуществило, и я вправе говорить о деснионизации государства.

Здесь я подхожу к пункту, в котором, точно в фокусе, собраны все важнейшие проблемы режима и демократии, национального существования и жизнеспособного будущего. Государство Израиль — государство ненормальное. Сионизм говорил о нормализации жизни еврейского народа, но я не знаю, что такое норма. Я не знаю, где есть идеал. Покажите мне его. Уганда — это норма? — Может быть, Россия, Америка? — Ответьте мне: что такое норма?

Вообще говорить о нормализации еврейского народа было более чем проблематично. Ибо мы никогда не жили как нормальный народ. Наша ненормальность есть исторический факт, к каким бы объяснениям мы ни прибегали. Религиозный человек скажет: еврейский народ избран Богом; наша ненормальность в богоизбранности. Экзистенциалист заметит: такова наша экзистенция, хочу я этого или нет. Факт поразительной жизни в течение 3500 лет от этого не меняется. Жить в таких условиях жизнью великой и большой ненормально. Но так было всегда, с самого начала, с Торы и пророков, с времен средневековья. Еврейский народ был творцом и созидателем, великим носителем самосознания и стремления к величию во всех поколениях. Кто еще мог дать миру Эйнштейна, Маркса и Фрейда? Я не берусь анализировать это явление, согласимся лишь, что оно за пределами нормы.

Есть люди, которые хотят бежать от такой судьбы. Пусть бегут. Личность может бежать, общество никуда от себя не денется. Это невозможно, немыслимо. Если это наш фи-

зический недостаток, то он с рождения. Так родились мы, со стремлением к величию и с возможностью величие воплотить.

Иррациональность нашей истории стала реальностью жизни. Факт не перестает быть фактом от того, что он не рационален и не поддается разумному объяснению. Не зря все крупные историософы были антисемитами: Маркс, Шпенглер, а в наши дни Тойнби, — по одной весьма простой и очень понятной психологической причине. Историософия ищет общие законы, под которые подпадает та или иная реальность. Еврейский народ не укладывается ни в одно из определений. Его история необъяснима с точки зрения рациональной. Как люди науки, историософы нового времени ненавидят то, что они не могут определить, не в состоянии объяснить и подвести под свои категории. Не имеет никакого значения при этом то, что Маркс был еврей, а Шпенглер и Тойнби таковыми не являлись. Их ненависть к еврейству вытекала прежде всего из бессилия человека науки определить неопределимое.

Согласно всем законам мы обязаны были исчезнуть, но мы существуем. Может быть это мистика, но я говорю о фактах.

Итак, наша жизнь ненормальна. И нужны неестественные усилия, чтобы ее нормализовать. Нормальными усилиями это сделать невозможно. Те, кто верит в мессианскую идею, могут уповать на пришествие мессии. Остальные принимают действительность, как бы она ни была парадоксальна: аномальность народа в его истории. Ты можешь благословлять это, можешь проклинать, но вынужден принять.

Вернемся к тому, что я сказал о государстве Израиль, оно — ненормально. Почему? — Потому что всякое государство есть функция территории и людей, которые на этой территории живут. Государство Израиль — единственное в мире, которое было основано не для тех людей, которые жили на этой территории, и существует не для тех, кто живет на ней сейчас. Оно основано и существует для тех, кого нет еще здесь, но кто будет. Мы в пути, мы все еще в пути. Есть ли на свете государство, подобное нашему?

Тот, кто не понимает этого факта, не может делать политику. Ему просто запрещено заниматься политикой государства Израиль. Ведь если я определяю политику для государства, я должен знать, какова его цель. Для нормального государства это не представит большого труда: его цель доставить максимум благ, обеспечить процветание и благосостояние в условиях мира тем, кто живет в его пределах. Тогда для каждого становится законным создать группы давления и отхватить для себя от пирога благоденствия кусок потолка.

Но разве я сказал, что такое государство служит фундаментом для сионизма? Нисколько! — Государство Израиль существует для еврейского народа и для тех евреев, которые приедут сюда, не важно по желанию или под давлением. Когда это произойдет? — Не знаю. Сионизм никогда не утверждал, что евреи приедут сюда все вместе и в один день.

Известно, каких трудов стоило Моше Рабейну вывести евреев из Египта, а ведь миссия его, согласно Торе, была определена Богом. Ему удалось это сделать только потому, что там грозили извести евреев под корень. А там, где этого нет? — Если Моше Рабейну пришел бы сейчас в Америку, он не вывел бы оттуда ни одного еврея, даже религиозного. Конечно, США не Египет времен фараонов. Правда — в другом: Всемогущий Господь и сам благословенный и достойный Моше Рабейну не действуют в пустом пространстве. Они действуют в психологической и социологической реальности, а социология и психология говорят: идеалисты всегда в меньшинстве. И здесь мы подошли еще к одному ключевому моменту проблемы — к идеализму и его месту в судьбах нашего народа и государства.

История наша открывается словами, которые Бог сказал праотцу Аврааму: "пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе". (Быт., 12, 1).

В Мессопотамии не было погромов, в Уре не строили Освенцима. Это была вершина культуры, подъем цивилизации той эпохи. Авраам не был беженцем, он пошел во имя идеи. Не важно, призвал ли его голос изнутри или было по-

буждение извне, но он оставил все, порвал с собой и своим прошлым.

Каждый идеалист требует от себя разрыва с собой, со своей землей, со своей родиной и домом отца. Авраам был одним из великих идеалистов, гигантом среди гигантов. Сколько таких?...

Евреев из Египта пришлось тащить силой, долго не слушали они пророка, роптали по дороге и оглядывались назад на полные котлы мяса и на хлеб, что ели досыта в земле Египетской. Тора удивительно реалистична в описании народного характера. Весь народ не может быть идеалистом. Идеалисты не исчисляются миллионами. Любые массовые движения, любая эмиграция поднимаются силой. Идеалистами могут быть первые, халуцианцы, пионеры. Можно вздыхать и сокрушаться, говоря, если бы еврейское государство было готово накануне страшных лет уничтожения еврейства Восточной Европы. Но евреи Польши и Германии, Венгрии и Румынии не хотели ехать в Палестину, ни националисты, ни хасиды Гуру. К Бунду нет претензий, социальные проблемы заслонили национальные. Однако ехать было необходимо, так же как и сейчас, когда есть куда ехать, но ведь едут-то далеко не все.

Сионизм не был создан для идеалистов. Наоборот, его создали идеалисты для тех, кто не должен быть идеалистом, для тех, кто не хочет ехать, но кого ждет уничтожение. Этот тезис верен и по отношению к государству Израиль, поскольку оно — продолжение сионистского движения средствами более свободными, лучшими — государственными.

К нам до сего дня прибывают группы идеалистов из Советской России и Америки. Это естественно и прекрасно, они приезжают действительно по внутренним идеалистическим мотивам. Разочаровать их трудно. Но есть и другие, их большинство. Одни хотят просто бежать из России куда глаза глядят, у других есть личные проблемы и никакой идеалистической мотивации. Это также естественно, потому что мы имеем дело с живыми людьми. Однако мы-то должны жить в сознании кто мы, какое у нас государство и что мы должны для них делать?

Несколько лет назад я был в Америке и пытался рассказать американским евреям то, о чем пишу сейчас. Процент идеалистов был, конечно, весьма мал. Евреи говорили мне: то, что произошло в Европе, у нас произойти не может. Сегодня они так не говорят, сегодня вам ответят: "пожалуй, это не произойдет. Разве это так обязательно?" Нотки сомнения появились в голосе американских евреев. Для этого есть весьма серьезные основания и довольно ясные признаки. Прежде всего в любой стране всегда есть антисемитские группы, правые или левые — какая разница. Достаточно любой экономической катастрофы или военного потрясения, чтобы антисемитские настроения выплеснулись наружу и стали массовыми. Массы нуждаются в какой-либо жертве. Удобнее евреев в этом плане не создано ничего. Посмотрите, какое место заняли евреи в американском обществе. Они не превратились в рабочих и земледельцев, не пошли в рудокопы и докеры. В фундаментальных и основополагающих для каждой страны и каждого народа слоях населения евреев нет. Они только на высшем уровне: денежно-деловом, интеллектуальном, профессиональном. Складывается точно такая же ситуация, какая была в Германии и в Советской России, независимо от того, был ли там строй коммунистический или капиталистический, германская раса или славянская. Теперь в Америке то же явление; мы в элите. И мы заплатим и за Киссинджера, и за Дени Кен.

У Иосифа Флавия есть изумительный рассказ о еврее-актере в великие дни Рима. Он был выдающимся трагиком и в то же время смеялся и смешил людей. Плач и смех — еврейский удел на чужом празднике. Та же история во все дни и века. Прообразы описаны в Торе. То, что произошло с Иосифом в Египте, стало классикой. Еврей, проданный в рабство, превратился во всемогущего царедворца, — второе лицо в государстве. Отгадчик снов, он стал первым Фрейдом. Решив проблему голода, национализировав все имущество, Иосиф стал первым марксистом. Фрейд и Маркс — какая удача!

Но затем пришел фараон, который не знал Иосифа и забыл еврейские благодеяния. И настали черные дни для еврейского

народа. Вот так, вся наша судьба похожа в своей общей основе на этот рассказ.

Приходим из гетто, из тюрем, из рабства и — прямо в Троцкие, в Киссинджеры. Прямо в верхушку, в крону, в элиту, в мощь и силу своего таланта, а затем снижение, спуск, сброс. Что это мистика, сказки, миф? Есть сказки, которые были реалистичнее, чем то, что записано в истории. Если то, что произошло с Иосифом, — миф, то вся наша история есть доказательство этого мифа. Во всех странах, вплоть до наших дней.

И я, сионист и ученик Пинскера, Герцля и Жаботинского, проанализировав историю нашего народа, убежден в правде того, что написано в Торе: ЭТО может произойти в любом месте. Америка не может быть исключением.

Но вернемся к нашему государству и посмотрим, что нам дала наша природа и наш характер, чтобы быть сильными и великими. С высшим призванием родились, с великим стремлением жили и вдруг превратились в какое-то маленькое государство, провинциальное, левантийское. Что-то хватаем на Западе, что-то берем на Востоке. Куда делись силы быть великими? Для неевреев был у нас Дизраэли, для себя — "плони, альмони"*". Для других у нас Киссинджер, для себя — Рабинович. Дело не в том, что он плох или не на своем месте. Вопрос в масштабах, в сравнении. У предшествовавшего поколения были большие деятели, великие мечтатели. Современные деятели — всего лишь функция текущих потребностей. Они -- продукт десионизации государства, и режим, который установлен в стране, под стать их сиюминутному мышлению.

Человек, приехавший из Советской России и познавший там вкус диктатуры, видит здесь несомненно все внешние признаки демократии. Идея свободы и стремление к свободе превратились в сильнейшую мотивацию исхода евреев из России. И уж если есть еврейское государство, то там точно должна быть демократия, хотя свободу, вообще говоря, можно обрести и в Бруклине, и в Копенгагене.

*Плони, альмони (иврит) - некто, неизвестный.

Для меня понятие демократии, равно как и понятие социализма, не является столь основополагающим» как для других. Мой отец, сторонник "общих сионистов", говорил: "Я хочу еврейское государство без всяких условий, религиозное или светское, капиталистическое или некапиталистическое". Сегодня я, последователь Жаботинского и бывший член "Лехи", могу подписаться под его словами. Недавно новый мессия от археологии на одном собрании сказал: "Мы стоим на двух основах — еврействе и демократии; наше государство еврейское и демократическое". Я подумал об этой формулировке: есть в ней скрытая опасность. Если бы эти две основы были равны, тогда я бы с ней согласился. Еврейское государство — действительно фундаментальная основа. Демократическое государство — дело хорошее, однако, с моей точки зрения, не стоит в том же весе, что и еврейское.

Разумеется, я хочу, чтобы это государство было более свободным и демократичным. Лично я кровно заинтересован в демократическом режиме, так как по природе своей я индивидуалист и был бы первым, кто сел в тюрьму при недемократическом режиме. Однако я должен себя спросить, есть ли это основа основ нации? Может быть, демократия — это великолепно, это — идеал. Но как пришли народы свободного мира к этому идеалу? В один день, за один век? Соединенным Штатам Америки потребовалось 200 лет, чтобы стать Великой Демократией Запада. А может быть, вообще нельзя напялить на еврейскую экзистенцию и еврейскую государственность современные европейские либеральные одежды, скроенные в ином месте и в иных условиях?

Не забудьте, что демократия сегодня не является идеей Запада. Это — положение, статус, но не вопрос идеи. Строй вообще не может быть вопросом идеи. Строй — это функция потребностей. Если бы я был китайцем, я бы стал коммунистом. На Западе демократический строй в буквальном своем выражении призван дать максимум свободы для максимума индивидуальностей. Никто при этом не задается вопросом, что это противоречит интересам нации или вредит государству.

С точки зрения идеи Запад бесплоден. Произошла деидеизация западного общества. Идея Запада — делать жизнь и творить материальные блага, этакий стриптиз, душевный и материальный. Получать удовольствие от жизни в каждое мгновение стало "идеей" всего Запада. Если Запад замкнется на этой идее, коммунизм овладеет миром. Идейный вакуум не бесконечен, ветер врывается в пустое пространство. Здесь есть определенная диспропорция между теми, кто живет за счет послезавтра, и теми, кто живет за счет часа.

Но я уже заметил, что, как сионист, я думаю о будущем, я живу послезавтрашним днем. Мне еще никто не доказал, что демократия — это наилучший путь к осуществлению сионизма. Более того, я думаю, что этот строй, в том виде как он у нас сложился сегодня, не хорош для реализации сионистской идеи. Я называю этот строй "хефкерократией" — строим распушенности*. Его проявления: анархия забастовок, коррупция, враждебная деятельность РАКАХ**, финансирование партий, поведение арабов. Можно перечислять и дальше.

Как случилось, что движение идеалистов превратилось в режим взяточников? Это явление имеет определенный генезис, который не всегда знают новоприбывшие. Однако без этого не разобраться в том, что происходит в Израиле. Все началось с конца 20-х годов, когда руководство Сохнута во главе с Вейцманом приняло решение, против которого протестовал Жаботинский, принять в свою среду несионистов. Тогда же начали поступать деньги извне для финансирования политической деятельности партий. Кстати, в этом психологический ключ к афере Ядлина. Если партия получает деньги, не являющиеся вкладом ее членов, почему бы мне не взять комиссионные?

Кроме того, Израиль оказался единственным в мире государством, которое было основано партиями. Не путайте с режимом. Россия, как государство, существовала до того, как большевики захватили власть и установили режим коммунистической диктатуры. В Израиле именно партии создали государство. Психология этого явления настолько

* Хефкерут (ивр.) — распушенность.

** РАКАХ — коммунистическая партия Израиля.

глубока, что деятели партии Мапай до сих пор полагают: государство — это мы! Знающий историю сионизма понимает, правда, что это не соответствует действительности.

Сторонники мирного социалистического сионизма делают все, что требует национальное течение, но всегда с опозданием. Жаботинский еще в 20-х годах говорил о необходимости армии и государства. Тогда это называлось "милитаризмом и фашизмом", позднее выполнили все и во всех областях. Кто знает, во сколько лишних жертв это обошлось?

Всегда и во все годы я писал: мы не можем жить без Иерусалима, надо его завоевать во что бы то ни стало. Мне неизменно отвечали: нельзя! — и в конце концов сделали это. Кто представляет сейчас себе государство Израиль без объединенного Иерусалима?

Можно проводить политику по желанию, можно ее делать по необходимости. Когда была забастовка учеников в Рамалле, я предлагал: взять 100 представителей молодежи и выслать их в Иорданию, а лучше в Ливан. Полагаю, что это внесло бы успокоение, но мне возражали: это не демократический метод.. Не возражаю, согласен, что это не демократия, но если я готов на ограничение демократии для каждого еврея в защиту будущего нации, то почему бы мне не ограничить ее для каждого врага моего народа и моего государства?

Демократия для меня не идеал, если она не обеспечивает воплощение моей идеи. Может быть, она — образ идеальной жизни, тогда я готов выбирать лучший ее образец в Америке, Швеции, Англии. Однако это моя личная проблема, но не проблема судьбы целого народа. То, что хорошо для каждой отдельной личности, не обязательно хорошо для всех. Если для 1000 индивидуумов это хорошо, совсем не значит, что это хорошо для общества.

Идеализм и прибавка к зарплате не идут вместе. Демократия в наших условиях — это прибавка к зарплате. Я бы тоже не отказался от нее. Вопрос лишь в том, кто будет платить за это и не слишком ли дорогая выйдет цена.

Не расширение, а ограничение демократии во имя жизни нашего государства представляется мне делом первостепен-

ной важности. Например, я бы не дал право выбора в Кнессет тем, кто является антисиионистом. Я готов вести дискуссию с любым представителем сионистского движения, но не готов это делать с теми, с кем нет общего языка, например, с коммунистами. Если я посылаю человека в Кнессет, я доверяю ему тем самым решать судьбу еврейского народа и еврейского государства: селиться или нет в Хевроне; отступать или не отступать из Иегуды и Шомрона. Как может эти вопросы решать коммунист, антисиионист по мировоззрению, или араб? Норма, с точки зрения демократии, выглядит абсурдом, когда главный раввин Израиля и араб могут голосовать на равных основаниях. В Кнессете арабы сидят под портретом Герцля и должны петь наш гимн, "Атикву": "Мы вернемся в страну отцов". И поют они это под портретом основателя сионизма. Я за Герцля и против того, чтобы под его портретом сидел араб. Это — ситуация обмана. Демократию можно "нахлобучить" на государство, но нельзя одеть на сионизм.

Я дам вам классический пример, разъясняющий всю проблему. У нас есть "Закон о возвращении", пожалуй, последнее дело, которое осталось от сионизма в этом государстве. Согласно этому закону вернулись в Эрец Исраэль вы, русские читатели, и стали гражданами этой страны, стали сразу, сойдя с трапа корабля или самолета. Однако этот закон антидемократичен. Представьте себе, где-нибудь в Америке первый закон государства, разрешающий въезд представителям только одной определенной этнической группы. Все единодушно скажут — расизм.

Закон о возвращении говорит, что каждый еврей в мире может вернуться в страну Израиля. Каждый может войти, но есть право предпочтения евреям мира. С точки зрения сионизма, нет более благородной и гуманной задачи, чем помочь народу после двухтысячелетнего рассеяния вернуться на родину. Но, повторяю, закон противоречит формальным демократическим принципам. И недаром кричат арабы, крайние левые и другие антисиионисты об отмене его. Может быть, они правы с точки зрения абстрактной демократии.

а мы не правы, но "Закон о возвращении" остается нашим краеугольным камнем.

Наше государство не абстрактно, оно воплощение справедливой и святой идеи. Я называю его плацдармом будущего. Идея огромна и тяжела, и я не думаю, что формальная демократия есть наилучшая дорога к ее осуществлению. Разумеется, я не сторонник диктатуры. Я воздержусь даже от формулировки своей идеологии в термине "диктатура сионизма". Строй, который у нас должен быть, можно определить, скорее, как прерогативу сионизма. Тогда власть перестает быть самоцелью. Появляется национальная перспектива и возможность говорить народу правду.

Я полагаю, что демократию надо воспитывать, и пройдут долгие годы, пока ее идеи органически сольются в представлении народа с национальным благом. Пока же они зачастую понимаются в плане разрушительного своеволия, игнорирующего общественные интересы в угоду личности или определенной общественной группе.

Ни одна партия на выборах не в состоянии оторваться от демагогии и объяснить истинное положение вещей. Согласно принципам демократии все приходят и обещают, кто мир, кто социальный рай. Однако это — рай банкротов и забастовщиков. Народу надо говорить совершенно обратное: мы на фронте и путь к миру тяжел. Мы не работаем, и тебе предстоит больше работать и меньше получать. Откажись от прибавки к зарплате и помни, что наша экономика паразитическая. Как общество мы живем не за счет того, что зарабатываем, а за счет поступлений из-за границы. Можно было бы использовать эти деньги для национальных целей, но пускать их на повышение уровня жизни — значит быть паразитом. Прекратить распущенность, разъедающую общество. Богатый народ мог бы себе это позволить, но нам такое не по карману. Америка богата, но не позволяет себе распущенности, царящей в Израиле.

Я не капиталист и не коммунист, но я должен думать о том, что хорошо для хозяйства: производительность труда, экономия, дисциплина. Необходимо сократить импорт, так как я не обязан ввозить всю ту роскошь, которая есть в

мире. Мой счет прост: если я покупаю сегодня роскошный автомобиль, у моего внука не будет хлеба.

Может быть, найдут у нас нефть, но пока ее нет. Да и в нефть надо вложить миллиард, мой собственный, а не американский. Иначе американцы отдадут нефть Египту, как это уже было в Синае. Таков мой подход. Я говорю не о демократии, а о национальном спасении и национальном ограничении.

Есть еще одно очень важное условие, которое у нас отсутствует для осуществления демократического строя. Демократия требует зрелости. Минимум независимости, минимум экономического развития и зрелость — вот те условия, без которых демократия превращается в пустой звук. В Израиле произошло то, чего не было ни в одной стране мира. В течение 30 лет в страну прибыло впятеро больше людей, чем жило в ней при основании государства. Возьмите любую страну Европы и Америки и представьте, что бы произошло, если бы ее население за 30 лет возросло в 5 раз. Произошла бы катастрофа. У нас это не случилось. Справились, одолели, но демократию не укрепили.

Известно, что любой прибывающий в Америку обязан прожить в стране пять лет, чтобы получить гражданство и принять участие в голосовании.

У нас это происходит сразу после прибытия в страну, даже если новоприбывшие из арабских стран или тоталитарной коммунистической России понятия не имеют, что такое демократия. Многие просто никогда не слыхали о ней. Не зная страны и ее проблем, не разбираясь в политических партиях и их программах, не понимая решительно ничего, они идут голосовать и решать судьбы государства Израиль. Я против такой системы выборов. И если в США после 200-летнего опыта требуется минимальная пятилетняя осведомленность о стране и государстве для реализации права голоса, то мы и подавно должны начинать уроки демократии с квартала и города, с местного самоуправления, с наведения элементарной чистоты и общественного порядка.

Опыт не пропадает, достижения не идут на свалку. Я верю, что есть у нас огромный потенциал, который предстоит использовать не в анархии стачек и предвыборной битве

политиканов. Есть духовные гены и силы быть великими. Только бы не забыть, что мы в пути и не поддаваться самоуверенности, что можно не быть к себе слишком строгими.

Перевел с иврита и подготовил к печати Борис Орлов.

ВРЕМЯ И МЫ

В ближайших номерах: роман Хаксли "Этот счастливый новый мир", А. Б. Иошуа "Затяжной хамсин, жена и дочь" (окончание); Вл. Марамзин "Пушкинское начало и Горький", Михаэль Стефанек "Прага, 21 августа" (продолжение), статьи Льва Тумермана, Майи Каганской и др.

Стоимость подписки на год — 264 лиры, на полгода — 144 лиры. В открытой продаже — 27 лир. Оплату годовой подписки можно произвести в Три приема, а полугодовой — в два (последний чек вносится в апреле 1977 года).

Журнал продается и Тель-Авиве в магазинах Болеславского и Лепак, Сдерот Агасфер (ул. Алленби 116) в супермаркете Амашбир Лецарханим (ул. Алленби, 115), в Иерусалиме в супермаркете Амашбир Лецарханим (ул. Кинг Джордж), в магазине "Дар", в Хайфе в магазинах Лепак и Бронфмана (на Центральной автобусной станции), в Реховоте (на Центральной автобусной станции)

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ

8 США и Канаде - 39.20\$ (на год)

Во Франции — 184F.FR — "

В Германии - 92 DM. — "

Майя КАГАНСКАЯ

"...нет никакого Рио-де-Жанейро и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана".

(И.Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")

НАСЛЕДНИКИ ТОЛСТОЕВСКОГО ИЛИ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Из цикла "Эссе о времени"

НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ.

Шестидесятые, — как дом, откуда еще не выветрился дым вчерашних сигарет, где посуда еще не убрана и тесно от незавершенных споров, неотзвучавших голосов, где — в какой угол ни ткнишь — упругая пустота, должны бы хранить тепло друзей, спутников, собеседников...

Но — странное дело: подобно псу, пущенному по ложному следу, память моя упирается, виляет, увилькает и, размотав поводок до какого-нибудь 60-го года, не только что ни шагу вперед, а всем корпусом разворачивается и обратно, в уютную надышанную темь, в детское ватное марево, где 49-й неотличим от 50-го, 50-й от 51-го, как неотличимо и неслышно переходили друг в друга свинка, корь, скарлатина, одарявшие праздничной атмосферой детской болезни, узаконенного бегства, продленных каникул.

Пятидесятые годы, пройденные "по второму кругу", отжатые, изжитые, снова придвигаются вплотную, не уставая подбрасывать незначительные образы и воспоминания, свежестью готовые поспорить с только что отснятым фильмом.



Это не свойство памяти — это свойство времени. В пятидесяти годах — завершенность, продуманность замысла, мощь первоисточника и надежность прототипа, так что всякое волоконец в той временной пряже — в лыко, всяко лыко — в строку, строка — в текст.

И память, всегда жаждущая цельности душевного опыта, медлит покидать время, сытое не разнообразием, но единством впечатлений,

... Новейшей истории 50-е годы известны под именем "Железного занавеса". Газетные штампы, идиомы и клише требуют почтительного внимания, тренированного слуха: они — нерукотворны, они — факсимиле времени, удостоверения личности эпохи.

Эпитет ("железный") — величина переменная, функциональная, бегущая: железная дорога, железный век, железная необходимость, железная поступь истории...

Но "занавес" — всегда эмблема театра, его символ, опознавательный знак. Как толпятся у театрального подъезда обойденные билетами, мир толпился по ту сторону "железного занавеса",

А по эту — "Мас-ка-рад"! "Маскарад"! "Маскарад"!

Фильм "Маскарад" был снят в самый разгар (или на изломе) войны, в тыловых глубинах России, ее недостижимых недрах. Он не сходит с экрана до конца 50-х годов, и, подвигнутая этим успехом, драма "Маскарад" заполняет все театры страны.

... Сквозь черный вечер, сквозь белый снег, по краю бездны зрительного зала, мимо петербургских фонарей, улиц и каналов черные кони мчат черные сани, а в них, запахнув медвежьей полостью, черный Арбенин с мордвинским профилем мчится на маскарад. А на маскараде — эвакуированный цвет российского актерства с красавцем Михаилом Садовским во главе, и где-то там, в глубине комнат, толпы и экрана, скрывается, чтобы в решающую минуту выйти на экранную авансцену, сам режиссер фильма Сергей Герасимов — в роли Неизвестного.

Сергей Герасимов, уже беременный "Молодой гвардией", кажется миру на обозрение свое режиссерское лицо в роли судьбы и судьи лучшей русской романтической драмы!

Когда мы искали в эпохетно-кружевной маскарадной толпе героя себе по-сердцу, — всех героев потеснившее время, злорадно ухмыляясь, выбирало нас в качестве статистов своего маскарада.

Подданные российской империи 50-х годов, мы не были отрезаны от Запада. Нет, и мы были "западниками", европейцами...

...Вижу улицу, в любое время года — осеннюю, в любое время дня — предвечернюю, всю устремленную, наклоненную к одному заваливающему зданию, расшитому по облезлому фасаду винтовой железной лестницей, к изножию которой прилепилась аршинная визитная карточка: "Клубмолком". Что в переводе означает: клуб молочного комбината.

Сам же молочный комбинат одноэтажно и стыдливо прильнул к задней стене своего клуба, и, поскольку шума его работ мы не слыхивали, плодов труда — не выдвигали, как-то само собой подразумевалось, что именно оттуда, из молкомбината, черпает клуб свое неиссякающее киноизобилие.

О, какая жажда пробуждалась в душном и парном, как предбанник, зальце, и каким молоком и медом утолялась она: "Тарзан", "Индийская гробница", "Мадам X", "Женщина без прошлого", "Случай в пустыне", "Восстание в пустыне", "В сетях шпионажа", "Двойная игра", "Дорога на эшафот", "Королевские пираты", "Воздушные акробаты", "Артисты цирка", "Дитя Дуная", "Девушка моей мечты"... Стоп! Захлебываюсь. От восторга.

Фильмы нашего детства начинались каллиграфически честным уведомлением "...взяты в качестве трофея".

Помню цикл фильмов* под незримым слитным девизом: "Боже! Покарай Англию!" и "Горе коварным британцам!" — о тяжбе угнетенных народов с британским империализмом.

* Много позже узнала, что опекал этот цикл сам Геббельс.

Помню "Трансвааль в огне" с подробно выписанной проволокой английских концлагерей, в которых томились непреклонные буры.

Помню "Школу ненависти" с неотразимо юным ирландцем, умирающим на коленях любимой женщины, с английской пулей в груди.

Правда, "в качестве трофея" достались и "пленные" американцы с Гретой Гарбо, Диной Дурбин, Жаннеттой Макдональд да еще какие-то смутные европейцы... Но мы, замирая сегодня на "Сетях шпионажа", где английская разведка, не выходя из ночных кабаре, под пулеметные очереди кастаньет побеждала разведку немецкую, а завтра, рыдая над злосчастной судьбой ирландских фениев, — мы не терзались противоречиями. Кинопродукция воюющих сторон виделась одним нескончаемым многосерийным фильмом.

Потому что поверх национальных склок и вооруженных недоразумений нам дано было взглядом — ощупать, зрчком — окунуться, надышаться глазом "единым и неделимым" европейским Западом", "единством места, времени и действия" его истории, ландшафтами его вечной столицы — Парижа с его пригородами — Римом и Лондоном.

"Клубмолком" — наше "окно в Европу", проем ложи, театрально-оконная ниша, которая открывала роскошный вид на европейскую культуру. Плата за вход в нее была невысока, вполне по нашему карману.

Не ведаю, кто, где и как отбирал кинотрофеи, но и теперь, в четвертьвековой перспективе, не устаю удивляться отработанности и безотказности режиссерской концепции: собранием хореографических мизансцен, обрывками оперной мифологии, воплощением инфантильнейшего из воображений лежала перед нами Европа.

Она срослась с памятью моего поколения, осела в тех закоулках, уголках, непроветренных кладовых, которые разрастаются во времени и вместе с ним и тем большую площадь захватывают, чем реже мы заглядываем в свои подполья, "дворянские гнезда", "родовые именья"...

А те из нас, кто, взбунтовавшись ли, растерявшись, оказались на бесприютных просторах "дикого Запада" с

"клубно-молочным" образом Европы в душе и детской привязчивой любовью к ней в сердце, — ежась от разочарований, извечно положенных "русским скитальцам": мы чувствуем себя последними европейцами, хранителями и сберегателями ее подлинных ценностей. А в светлые минуты испытываем удовлетворение, сходное с радостью от добротной экранизации или инсценировки: и Монмартр на месте, и Нотр-Дам не сократили...

Возвращаясь в пропотевший клубный кинозал, я снова блуждаю между Аустерлицем и "мостом Ватерлоо"*, с букетом камелий умираю за свободу-равенство-братство на парижских баррикадах, а потом косичками, челками, чернильными ладошками, стоптанными ботинками растворяюсь в уличной мгле, пересекаю полосы желтого света из окон и жирного мата из подворотен...

Я не содрогаюсь от жалости к себе: за порогом "клубмолкома" мы так же не чувствовали пропасти между Енисейскими Полями и Жиланской**, как в школе — между Чарской и Павкой Корчагиным.

Мы жили не двойной жизнью, а — двумя жизнями. Так двумя жизнями живет человек во сне и наяву.

Двойную жизнь принесли шестидесятые годы.

ОТТАЯВШЕЕ РАСПУТСТВО.

...Они родились в 1956 году и крещены при рождении звучным именем "Оттепель". И нет для этого имени синонимов, взятых напрокат из тощего словаря политических свобод (демократизация, либерализация, реабилитация), а есть только один, почти буквальный смысл: метеорологический, "погодный".

Оттепель же русская вот такая. Небо цвета мигрени. Ступаешь на лед — попадаешь в воду, хочешь позабавить калошу весенней лужи — скользишь по спрятанному на дне льду. Из подъездов и дворов несет присмирившим в морозы, а теперь оттаявшим распутством.

*Известный английский фильм с Робертом Тейлором и Вивьен Ли.

**Старая улица старого Киева.

Неуютно в комнатах, промозгло на воле. Деревья, разбухшие от слез, по-вдовьи растрепаны и неприбраны. Тянет к водке, выяснению отношений, шубе и душе нараспашку. Сырой промозглый дух скандала выползает из всех щелей вирус истерики бродит по улицам, квартирам и душам.

Шестидесятые годы и начались государственных масштабов истерикой, прилюдным покаянием, всенародным скандалом, исповедью на площади с битьем грешного лба о торцы, заботливо устеленные соломкой...

И долго еще "сверху", из развороченного фамильного нутра, доносятся всхлипы, угрозы, вскрики; рассылаются куда-то кому-то от кого-то анонимные письма с дополнительными объяснениями и оправданиями... Потом все понемногу стихает, и, как обычно, участники и свидетели домашнего скандала, избегая смотреть друг другу в глаза, впадают в преувеличенное трудолюбие, заботу о доме, о семье; что-то чинят, что-то поправляют...

Стук передвигаемой мебели — шумовой аккомпанемент шестидесятых годов: охваченные жаждой перемен, мы — за отсутствием новой жилплощади — всячески переустраиваем старую: книжные шкафы стилизуются под перегородки, хозяйственные — под книжные, круглый стол загоняется в угол.

В одном углу молитвенно читают Блока и Ахматову, в другом — открывают теорию относительности, в третьем занимаются абстрактной живописью, в четвертый — стаскивают излишки и остатки трех предыдущих.

60-е годы — начало геронтологического бума: ни одно поколение, отвернувшись от отцов, не устремлялось с таким азартом на поиски пропавших бабушек и дедушек.

Предки, как и "углы", распределялись "по интересам": одни разыскивали "бабушек русской революции", другие — русского символизма (вообще — "изма").

От предков веяло восхитительной свежестью. Вырванные из насильственного сна нашим любовным поцелуем, они с полуслова продолжали разговор, начатый столетия назад, а мы всеми силами старались отбрасывать тени вышедших в вечность собеседников и порой вознаграждались

по-царски: "В профиль она — вылитая Марина" (Цветаева). Или: "Вот так начинал Володя" (Маяковский).

Бывали, впрочем, и осечки... В вишенно-сдобном провинциальном украинском городе разыскали мы себе в утешение и поучение замечательную одну старуху. Она просидела в лагерях ровно 28 лет и три месяца и вышла с той же неутоляемой, неиссякающей жаждой "новенького", с какой вошла туда. Здоровья была завидного ("от злости"), но мы опасались всегда, что и умереть она может "досрочно" исключительно из любопытства.

И в 70 лет была она ученицей и поклонницей времени со всеми его большими и малыми переменами, она тянулась к нам за новым знанием, мы к ней — за старой мудростью, мы к ней — за опытом, она к нам — за откровением. Пока наконец, в очередной говорливый и бестолковый, заполненный цитатами и ссылками вечер, не воскликнула с досадой: "Господи! Да что ж это такое? Уходила в лагерь — вокруг только и было слышно: Фрейд... Фрейд... Фрейд. Через тридцать лет выхожу — и опять: Фрейд... Фрейд... Фрейд..." (А с Фрейдом в 20-е годы была она знакома в Вене лично и хорошо, без "перевода с немецкого", который у нее — с тремя еще европейскими языками — ходил в родных.)

На минуту замолчали, на две — смутились, потом засмеялись: чудит старуха! Потом забыли.

... Вслушиваясь в разнокалиберное многоголосие 60-х годов, всматриваясь в их пеструю сумятицу, оттепельную растекашницу, я пытаюсь распознать ведущую мелодию, общую тему, центральный сюжет.

И нахожу.

СЛОВО, СЛОВЕЧКО, СЛОВЦО.

Как в каждой долгосрочной империи при многих периферийных языках есть один универсальный язык метрополии, так у нас языком универсальным, "всехним" были — "Две-надцать стульев" и "Золотой теленок".

Выглядывал он, выходя, выползая из своих "углов", кружков, сообществ, содружеств, и "петербуржцы" с Блоком и Ахматовой, и патлатые "лирики", и входившие в силу "физиики" — все говорили на ильфопетровском наречии.

Я помню, знаю, что у каждого из кружков, сообществ, содружеств был свой "эзотерический" язык, своя система паролей, "масонских знаков", по которой свой свояка не видел, а слышал, и не издалека, а вблизи, потому что при встречах и расставаниях обменивались мы вместе с рукопожатиями (а то и вместо) строчками стихов, цитатами, именами великих...

Но в паузы между цитатами, в разговорные цезуры и пустоты на равных правах с междометиями, вздохами, взглядами и всей той осмысленной невнятицей, из которой на три четверти и состоит человеческое общение, безо всякого в том участия воли и сознания, — врывалось:

при наличии отсутствии ключ от квартиры где деньги лежат как в лучших домах Филадельфии не забудь дело помощи утопающим дышите глубже вы взволнованы и ты Брут проданся гигант мысли отец русской демократии знойная женщина мечта поэта он и в самом деле пушист до чрезвычайности так будет со всеми кто покусится это вам не Рио-де-Жанейро...

Есть в этом тайна, странность, загадка...

Ведь на современников Ильфа и Петрова их романы особого впечатления не произвели: жившие в 30-е годы (наши родители) не оставили их нам в духовное наследство; уцелевшие в 30-е годы (наши отцы "по духу") попросту не заметили, а тридцатилетие спустя заметив — обиделись: донос на интеллигенцию, поклеп, да дикарское скалозубство, да одесское хохмачество...

В 50-е годы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" ушли на дно: их разнузданное отношение к слову и панибратское — к действительности не вписывалось в подпиравшую небо сталинскую готику.

Изредка всплывая на поверхность, книги — по шкале наших тогдашних ценностей — располагались где-то вблизи, но ниже графа Монте-Кристо или Конан-Дойля.

И то еще чудно: что так ясно различали тугоухие 30-е годы — барабанную дробь осуждения "маленького мира маленьких вещей" — было нам чуждо, враждебно и неинтересно: в начале 60-х годов оппозиция начиналась с реабилитации уюта и "маленького мира", увы! — как оказалось — посмертной.

Но мы еще не знали этого, и длинноногий узкобедрый торшер, сменивший наливной крупитчатый абажур (оранжевый шелк, павлиний орнамент, цыганская бахрома), был баррикадным знаменем водружен среди вороньей коммуналки 60-х годов.

Да увидь мы хоть намек "доноса на интеллигенцию", хоть клочок... — Пусть не для всех, но для многих и тех именно, кто узаконил славу романов, были бы они скомпрометированы навеки, заглохли, увяли, перестали бы существовать, как ни для кого (кроме любителей хороших переплетов и солидных библиотек) не существуют "собранные" Ильф и Петров с их соловецкими шуточками и беломорканальскими восторгами.

А "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" живут и добро наживают не сатирой, не разоблачениями "мещанства, косности, обывательщины",* а — фразами, фразочками, словами, словцами, словечками....

В слове, стало быть, и припрятан ключ от романов. А слово это, оказывается, в основном давно и хорошо знакомо.

"Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно воздвигнуть нерукотворный".

"Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница".

* Из предисловия официального советского сатирика Д.Заславского в 1-м томе собрания сочинений И.Ильфа и Е.Петрова: "Они представляли свои орудия против злейших врагов социалистической революции: против мещанства".

"Ах, ах, — вскрикивал Авессалом Владимирович, — боже-ственно! "Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир". (Напомню: это цитата из "Египетских ночей" Пушкина.)

"Отец Федор пригрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

Птичка божия не знает
ни заботы, ни труда,
хлопотливо не свивает
долговечного гнезда".

"На вас треугольная шляпа? — резвился Остап. — А где же серый походный пиджак?"

"...и только меланхолически бормотал: — "В пустынных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли".

"Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты".

...Поддайся я прилипчивому соблазну цитировать — получил-ся бы отличный дайджест, карманная антология русской литературы для миллионов.

Классическая литература оказалась настолько горячим материалом, что достаточно поднести к ней обыкновенную серую фразу, чтобы в ответ вспыхнул негаснущий фейерверк ильфопетровского юмора.

"Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду...". Смешно? — Не смешно. Но вот прибавилась крупинка соли из "Гамлета" ("Что мне Гекуба?"), а к ней — стихи русского лирика XIX века Якова Полонского: "Кто мне она? Не сестра, не любовница и не родная мне дочь. Так отчего ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?"

Молекула смеха готова. Формула — тоже.

"Золотой теленок" — вотчина Достоевского. Телеграмма, адресованная подпольному миллионеру Корейко за подписью "братьев Карамазовых", извещает больше об этом, чем об апельсинах, которые нужно грузить бочками.

Васисуалий Лоханкин повторяет судьбу помещика Максимова*: он живет приживалом на диване у Варвары (Максимов — у Грушеньки) и, точь-в-точь как Максимов, высечен "за образованность".

Перебирая способы избавиться от миллиона, Остап вспоминает (как всегда, без указания источника) сцену из романа Достоевского "Идиот", в которой Настасья Филипповна бросает в камин сто тысяч рублей. "Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине! Это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой!"

Путь от "Двенадцати стульев" к "Золотому теленку" — это "путь из варяг в греки", путь от русской провинции к библейской пустыне, от пародийно осмысленной культуры — к пародийно осмысленным ее прообразам.

Чем дальше удаляется литерный поезд от Москвы, Арбата, Черноморска, Мелитополя, Конотопа и других культурных центров, чем чаще за окнами вагонов мелькает "бородавчатый пейзаж пустыни", тем ближе к поверхности текста подступает самая глубинная из его пародий.

Господин Гейнрих рассказывает своим спутникам по дороге на Турксиб ветхозаветную историю о комсомольце Адаме и комсомолке Еве.

Остап повествует о гибели Вечного жида, убитого петлюровцами.

Решающая "комбинация" романа — само его название: "Золотой теленок", он же библейский золотой телец.

История, прокрутившись до конца, раскрутилась с начала: "Я угощаю", — объявляет Остап. — "Золотой теленок отвечает за все".

Горбоносый еврейский вопрос повисает над романом. "Пророк Самуил отвечает на вопросы публики" и, оттеснив Гомера и Мильтона, выходит в ближайшие родственники Михаила Самуэлевича Паниковского — "Человека без паспорта".

Помещик Максимов — персонаж романа Достоевского "Брат Карамазовы",

ЭПОХА ТОЛСТОЕВСКОГО.

И.Ильф и Е.Петров подписывали свои фельетоны псевдонимом Ф.Толстоевский.

Остроумные и начитанные одесситы, ощущавшие себя заодно с историей и на "ты" с ней, хотели распрощаться и рассчитаться с прошлым — общей их духовной родиной — русской классикой и единоличным ильфовским еврейством, — по Карлу Марксу: смеясь. Вышло, однако, иначе. Классическая литература себя отстояла: под каждой цитатой и пародийным розыгрышем классики в романах Ф.Толстоевского разверзается пропасть, не предусмотренная легкомысленным автором.

"Толстоевское" пространство русской культуры неизбежно потянуло за собой пространства и глубины культуры мировой.

Романы Ильфа и Петрова отделились от авторов и добились полного самоуправления, они — *parodia sacra** мировой культуры, пилуля классической духовности, невинно упакованная в обложку советского быта 20-х годов. Вместе с облаткой читатель заглатывает концентрат уже недоступной ему в натуральном виде культуры.

Внутренние закономерности, возможности, заложенные "памятью жанра" превысили не только сознательную установку верноподданных авторов, но даже их творческие возможности: "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" бесконечно талантливей всего созданного Ильфом и Петровым. Есть в романах привкус анонимности, они кажутся порождением самого литературного процесса, внеиндивидуального литературного сознания.

"Зачатые" на рубеже 30-х годов, появиться на свет (не заново, а — впервые!) книги и могли только в 60-е годы — время расцвета и торжества литературного сознания. Они с

*"parodia sacra" — священная пародия. Популярный жанр средневековой литературы, пародирующий тексты Святого Писания и отцов церкви, (По книге М. Бахтина "Рабле и смеховая культура Средневековья и раннего Ренессанса".)

легкостью разменивались на десятки и сотни афоризмов, потому что сами были гигантской купюрой "достоинством в сто тысяч" цитат; они растаскивались на цитаты-блоки, цитаты-плиты, цитаты-кирпичики, потому что сами были грандиозным памятником цитате, сооруженным из цитатного же материала.

...графа Монте-Кристо из меня не вышло на блюдечке с голубой каемочкой пиво только членам профсоюза не возражаю Польшаев служил Гаврила хлебопеком Бриан — это голова жертва аборта бывший князь ныне трудящийся востока мы в гимназиях не обучались...

Неопознанным химическим элементом книги вошли в атмосферу, воздух времени: шестидесятые годы задыхались, изнывали, томились по литературе — как "средству к жизни".

И разве только шестидесятые?...

Цитата — один из основополагающих законов русской жизни — истории и культуры.

Запертые в "ледяном доме" 50-х годов, обреченные на роль участников и статистов гала-представления, паноптикума, шутовского маскарада, мы жили внутри химерной "цитаты" из химерного "текста" то ли имперской провинции, то ли провинциальной русской империи XIX-го века, цитаты из бала в благородном дворянском собрании, без кавычек переходящей в интерьер пьесы Булгакова "Дни Турбиных"...

Помните, как Сталин насмотреться не мог на нее, оторваться, налюбоваться...

Но особый, душный и утробный уют 50-х годов, их прочная закреплённость за временем и пространством, на этой цитатности и держались, на вспышках пусть выморочного, но все же культурного сознания в сумеречном, скучном беспамятстве сталинских будней.

В оттепели 60-х годов как будто истаяли замороженные сюжеты сталинской инсценировки, а все же не до конца, не полностью, как и полагается в оттепель: не до последнего льда.

Послушайте массовую, но не матерную реакцию советских граждан на очередной финт, неожиданный фортель

"партии и правительства" в области хозреформ или международной политики: "Ну, прямо цирк!" "Кино". "Театр — да и только!" В среде поинтеллигентней — добродушно-брюзгливое: "Что-что, а с советской властью — не соскучишься"... Реагируют — как на зрелище, спектакль какой, эстрадное обозрение... Мелькают кадры, исполнители, скетчи — вот только автор и сценарий неизвестны.

Альтернатива 60-х годов — пятидесятые, как альтернатива оттепели — похолодание: стойкая и длительная оттепель называется весной.

Оттепельные шестидесятые — климат русской жизни, а не хронология, атмосфера времени, а не его календарь. Появляются всегда ниоткуда и всегда уходят в никуда, как талые воды, пробиваясь сквозь промерзшее время.

В попытках соединить обрывки времен мы потянулись за самым надежным, самым гарантированным рецептом склейки — словом, словцом, словечком, цитатой... Поэзия — хлеб и плоть шестидесятых годов, ибо ничто с такой легкостью не распадается на цитаты, как стихи, и ничто не дает в России такого ощущения найденного смысла жизни и собственного существования, как цитата.

Сколь многие из нас, обладая они суровой честностью "великого комбинатора", должны были бы "на рассвете", "когда дописаны... последние строки", вспомнить, "что этот стих уже написал А. Пушкин", Блок, Пастернак, Мандельштам. И Ахматова, и Цветаева.

Да что там Мандельштам с Цветаевой! И Евтушенко, и Вознесенский, и Белла Ахмадулина...

Время было так "проспиртовано" словом, что, подобно профессиональным алкоголикам, хроническим пропойцам, не заботящимся о качестве спиртного, но одинаково хмелеющим от коньяка и тройного одеколона, мы ммурили, хлебнув какой ни попадя строфы, пригубив любого поэта...

С живых поэтов "писали" стихи, с мертвых — еще и биографии, судьбы.

Прокручивая кинолентой память, я вижу отснятые судьбы своих сверстников и современников: страсти и разрывы по Марине Цветаевой, Достоевские "углы" и "подполья" с психо-

логическими провокациями, скандалами, надрывами и летальными концами, которых — ни обойти, ни объехать: ведь "вначале было слово".

Но так и Лоханкина должны были высечь, потому что высекли помещика Максимова в "Братьях Карамазовых". (А, кстати, сам помещик в романе Достоевского утверждает, что он уже был описан в "Мертвых душах" Гоголя).

Так Бендер, утверждавший, что в молодости он играл Гамлета, должен был — по его же утверждению — "несколько дней побыть Иисусом Христом": тайное родство Гамлета с Христом давно подмечено русской культурой.

И оказывается, что прокручивать — нечего, нет фильма, есть кадр первый — кадр последний... Только с каждым днем, годом, десятилетием все мутнее, желтее, пожухлее...

И к старикам мы тянулись как к ожившим цитатам, "живой хронологии". Тянулись за "режиссурой", "мизансценами", "постановкой голоса" и жизненной позы, чтобы все было, "как в лучших домах Филадельфии".

Скептическая старуха из провинциального украинского городка, в ужасе повторявшая: "отовсюду только и слышу — Фрейд... Фрейд... Фрейд...", — отстранилась от "режиссуры" не из врожденного здравомыслия, чувства юмора или злобности, а — как я это теперь понимаю — потому, что ни по крови, ни по духу не числила себя в подданных русской культуры.

В "смех и грех" были ей наша "заикленность", страсть к стихам и цитатам из них, "авторитарный режим" литературы, распорядившийся нашими жизнями.

Кто скажет, когда, в какой момент, претворенная в жизнь литература, принесение горячей крови на алтарь цитаты (пусть и высшего сорта) — оборачиваются грехом против самой жизни?

Но что время "смеха" наступило, повторение пародийно, возвращение гротескно, — тому было живое свидетельство, явленное знамение: ироническим коррективом, издевательским общим множителем вынесены "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" за круглые скобки шестидесятых годов. Не мы их цитировали — они нас, не мы ими разговари-

вали — они нами, не мы над ними смеялись (как "обливаются слезами над вымыслом") — смехом обидным и унижающим они смеялись над нами: обращение к культуре, тождественное возвращению к ней, неизбежно пародийно.

Вольно литературной элите подтрунивать над "технической интеллигенцией", для которой романы Ильфа и Петрова были (и остались) "Ветхим и Новым Заветом": разве не запечатлена в ее простодушной увлеченности всеобщая русская гуманитарная жажда, из этого источника утоляемая просто, легко и недорого? Разве верность инженеров, старших, младших научных сотрудников и кандидатов технаук, — разве верность их "отцам русской демократии", — не шаржированный, но правдивый портрет нашей приверженности к цитате, "литературе — учебнику жизни" и "книге — источнику знания"?

... Человек, выросший в климате 60-х годов, в другом климате приживается с трудом, а то и вовсе не приживается. Как безошибочно узнается южанин или северянин по цвету кожи, темпераменту и привычкам, так безошибочно узнается выходец из 60-х годов.

Его религия — поэзия (литература, культура), молитва — стихи (цитаты, имена).

Для него жизнь, неизвестная по книгам, не "продегустированная" и одобренная литературой (русской), — та самая заграница, про которую Остап Бендер сказал, что она — "миф о загробной жизни". Даже добравшись до своей "хрустальной мечты" — Рио-де-Жанейро или какой-нибудь другой, — лишенный родной знакомой литературной почвы под ногами, он будет уныло повторять: "...нет никакого Рио-де-Жанейро и Америки нет, и Европы нет, ничего нет..." и т.д.

Голым инженером стоит он на площадке перед непостижимо, безбожно, жестоко захлопнувшейся дверью шестидесятых годов, чувствуя, что вместе с водой из кранов вытекает его собственная жизнь, и я слышу, как в измученной его, уставшей груди нарастает вопль: "Цитату мне! Цитату!"

Наталья РУБИНШТЕЙН

СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ ИБАНСКОЙ

ИСКУССТВО БЕЗ ИСКУССТВА



*Нас не пугай, мы говорим,
Историей такой!
Мы наш, мы новый мир творим,
И не хотим другой!*

Из стихов Крикуна.

В истории литературы не было недостатка в утопиях, содержащих предсказания светлого будущего. Теперь, когда светлое будущее несомненно наступило по крайней мере на одной шестой части земного шара и в идеологически примыкающих к ней районах, очень жаль, что нельзя разбудить всех этих футурологов — Морозов, Сен-Симонов, Чернышевских, — безответственно скрывшихся в мрачное прошлое от справедливой благодарности потомков, с тем, чтобы вовлечь их в актуальную беседу о пользе просвещения и о воздействии художественной литературы на историческую действительность.

Большевики, коммунисты, представители передового учения, Партия и Правительство, скромно называвшие себя "творцами истории", были на самом деле творцами литературы. Они реализовали в настоящем взятый из литературных мечтаний прошлого увлекательный сюжет. Конечно, у них были предшественники. В России история всегда развивалась как бы с оглядкой на литературу. Верность романтической словесности привела декабристов на Сенатскую площадь. Герцен и Огарев оглядывались на Шиллера с высоты Воробьевых гор. Петр Лавров и Герман Лопатин имели литературных прототипов в героях Чернышевского. Не только у русской литературы была претензия обучать жизнь, как ей становиться историей. Но только русская жизнь приняла эту претензию всерьез и отдала свою историю на откуп литературе. Между тем литература не есть жизнь, ни даже часть жизни, ее претензии на учительство и руководство вздорны. Литература есть искусство, свободный партнер свободно развивающейся истории, равноправный участник в диалоге. Педагогические потуги унижают литературу. Не переставая быть л и т е р а т у р о й , то есть черными литерами на белой бумаге, она перестает быть и с к у с с т в о м . Жизнь же, подчинившая свое течение реализации литературных тропов, сама становится л и т е р а т у р о й , химерой, выдумкой, она выпадает из Истории для себя, становясь лишь историческим прецедентом для других.

Вот, например, литературные идеи самого оптимистического толка победили в одной отдельно взятой стране, и жизнь в этой стране уже шестьдесят лет развивается по законам литературного текста, воспроизводимого одновременно сразу во всех поэтических родах и видах — трагедии, драме, комедии, вплоть до фарса-гиньоль, романе ужасов, скрещенном с детективным эпосом, переходящим в новейшие формы антиромана. Такая решительная победа литературы уничтожила в этой стране историю, остановила течение времени, обратив его в неизменное художественное полотно, отличающееся завидной прочностью. Историческая победа литературы над историей сделала излишней дальнейшую историю литературы, чем и объясняется однотипность биографий

ставших ненужными поэтов и писателей. Писательство ныне столь же устаревшая профессия, как занятия фонарщика в условиях электрификации всей страны или трубочиста после введения парового отопления. Писателей заменили инженерами человеческих душ, книгопечатание почти что упразднили (о чем сохранилось свидетельство представителя атавистической профессии поэта Осипа Мандельштама: "Мы живем в догуттенберговскую эпоху"), а вместо него ввели для всех трудящихся День Печати, 5 мая, который есть знак победившей словесности. Так прежнее и с к у с с т в о во и м я б у д у щ е г о исчерпало себя, потому что будущее уже состоялось, сказка стала былью и никакого нового будущего в будущем не предвидится.

И с к у с с т в о же для искусства и прежде известно было своей полной бесполезностью и бессмысленностью. Но потребность в искусстве, являющаяся несомненным пережитком прошлого, осталась. И тогда возникло совершенно новое явление, которое правильно было бы назвать "ИСКУССТВОМ БЕЗ ИСКУССТВА".

ЗЫЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ

*Светлое послезавтра сообща куя,
Зря*

грядущее

скрозь время призму.

Мы не признаем и не желаем

ни..., т. е. ничего,

Акромя изма.

Из стихов Литератора.

Приведенное выше вступление кажется необходимым перед началом разговора о самой своеобразной книге последнего времени, написанной на русском языке. Она есть несомненное произведение искусства. Хотя искусство в ней и не ночевало. Хотя автор не сделал ни малейшей попытки прикрыть свою писательскую неискушенность, а, напротив, выставил ее среди прочего предметом изображения. Автор — Александр Зиновьев, даже не однофамилец тому Зиновьеву, у

которого была совсем другая фамилия, философ, за большие успехи в области литературы освобожденный от профессорских обязанностей в Московском университете, но еще не взятый государством на полное обеспечение, как он того совершенно заслуживает. На обложке книга называется "Зияющие Высоты", а на корешке "Зыяющие". А так как в книге опечаток в несколько раз больше, чем страниц, то читатель до конца сохраняет твердое недоумение: то ли это случай корректорского недосмотра, родственного знаменитому происшествию с "Британской Энциклопедией", то ли отголосок много раз воспроизведенного в тексте восточного акцента Хозяина: "Мы нэ можем ждат мыластэй ат прыроды..." Книга эта тяжела по содержанию и необъятна по форме. Пока доберешься до этих самых "зияющих высот" — пятьсот шестьдесят страниц убористого петита... Дорогу осилит не всякий идущий!..

Да и что за книга! К примеру, к какому отнести ее литературному жанру? Ясно, что не роман. Эпопеей тоже не обзовешь. Сатира? — оно конечно, но ведь и памфлет, и философический трактат, так что у иного скулы сведет от скуки, а пролистнет нетерпеливый читатель занудную философскую дребедень — и прямо с научного диспута вваливается в главу, построенную по тому самому принципу, по которому, если верить анекдоту, на родине автора сооружают заборы: сперва пишут неприличное слово, а потом к нему приколачивают доски. И только решит читатель, что автор хулиган и охальник, и даже забеспокоится: что про него подумать может наша целомудренная старая эмиграция и каково придется ему, к примеру, в "Свежем Журнале", где критика всегда встречает новичка исключительно по правилам хорошего литературного тона, принятого в лучших издательских домах Нью-Йорка и Филадельфии, — только, повторяю, забеспокоится читатель о репутации несолидно ведущего себя профессора, — как вдруг повеет на него давно забытым наивным морализмом восемнадцатого столетия и всей отчаянной безнадежностью нравственной проповеди, а закончится все дело достойно самых мрачных антиутопий, каких немало уже насочиняли в нашем столетии.

Ну и постройка! На редкость неуклюжее сооружение — будто к деревянному барaku эпохи первых пятилеток пристроили сбоку небоскреб со стадионом и метрополитеном на крыше, а на заднем дворе разбили регулярный английский Гайд-Парк. Это чудовищное здание не имеет отношения к литературе, но имеет отношение к жизни, укрощенной литературой, к жизни, прячущейся на задворках нагло выкаченного на всеобщий показ литературного произведения; эта книга имеет отношение к жизни, протекающей за кулисами большого, ежедневно в течение шестидесяти лет даваемого на мировом театре представления, имя которого мы все знаем. Перед нами образчик нового направления в художественном творчестве — произведение ИСКУССТВА БЕЗ ИСКУССТВА.

И хотя маленькая изящная и емкая вступительная заметка, предвещающая эту книгу, в первой строке называет автора советским Свифтом, а в последней новым Щедриным, согласиться с ней нет никакой возможности. Эпоха великих географических открытий никогда не прекращалась в литературе. Богослов и философ Джонатан Свифт снарядил в морские путешествия Сэмюэля Гулливера. Где-то недалеко от исторической Франции наткнулся Анатолий Франс на Остров Пингвинов. Не отстали и русские путешественники — вопрос, важный для приоритета русской науки, — в прошлом столетии Салтыков-Щедрин обнаружил город Глупов, уже в советское время Андрей Платонов — город Градов, и совсем недавно известный русский путешественник в не столь отдаленные места Абрам Терц рассказал историю города Любимова. В этом смысле Александр Зиновьев продолжил славную традицию, открыв в своем эпохальном труде "Зияющие высоты" еще один новый в литературе населенный пункт — город Ибанск.

Но на этом сходство и кончается. Имена же Свифта, Щедрина или Терца должны быть привлечены для обсуждения вопроса не о родстве с ними, а об отличии от них труда Зиновьева. Потому что книга его совсем не литературных корней, совсем других кровей.

НЕСТОР XX ВЕКА

*Мне эти законы наши
Положено знать по чину.
Чем больше руками машешь,
Тем глубже тонешь в трясину
Из стихов Певца.*

Почему книгу о Гулливере так охотно читают дети? Дети не знают свифтовской Англии, не знают, кто был мишенью тех сатирических стрел, которыми Свифт поражал современников, но это им не мешает. Ветром нового времени полны паруса корабля Гулливера, мир раздвигается, ошарашивая своими диковинами. Дети держат в руках великую приключенческую книгу — комментарий достается родителям.

Разве нужно знать о виггах и тори, когда читаешь о дискуссиях и битвах тупоконечников с остроконечниками? Жизнь, из которой выплавлена книга, растворилась, минула, ушла. Искусство осталось. В нашей жизни лилипуты держат в плену Гулливера. Наши добрые знакомые оказываются типичными "иеху". А в дискуссиях о выведенном яйце мы и сами бывали неоднократными участниками.

Важно, что ли, знать, какой именно министр разгромил какой именно университет, если новый глуповский градоначальник "въехал в город на белом коне, сжег гимназии и упразднил науки"? Ведь не так давно в Москве закрыли вторую математическую школу по причине неблагонадежности обучающихся и обучаемых.

Где расположен любимый Терцем город Любимов? Нет его на карте и в действительности его не ищите. Он нигде и везде. Он — в искусстве. И не надо подстановок.

Житейские сюжеты и персонажи вызывают в романисте ревнивую досаду: жаль не я сочинил такое. В приступе здорового соревнования устраивает он свою собственную действительность. И когда исторические происшествия забываются — литературные события остаются.

Так бывает, когда жизнь отдельно, литература отдельно. Тогда романисту всего и забот, что, поддразнивая и передраз-

нивая, забегая вперед и заходя сбоку, стащить у жизни ее неочевидные тайны, ее завтрашние тревоги и послезавтрашние опасности. И вернуть ей: на, посмотри-ка. Тогда сатирику всего и делов, что выделить, получить в химически чистом виде всегда в достаточной доле растворенный в жизни идиотический элемент и порадовать своей добычей всех присутствующих.

Но иные задачи были у Зиновьева, и не из писательского азарта росла и пухла долгие годы его книга. Зиновьев не романист, он новый летописец, Нестор нашего времени. То, что он профессор философии, вполне укладывается в традицию летописания: хронистами были самые образованные монахи. Зиновьева монахом, конечно, не назовешь... Однако кто может сегодня с уверенностью знать, какими именно были Кирилл Туровский или Георгий Амартол?..

Между тем эта ни на что не похожая книга в то же время на что-то очень похожа. Когда читаешь, что у начальника произошло "калоизлияние в мозг", что Директора схоронили на Старобабыем кладбище, что "яма есть фундамент для нового светлого здания Сортира, и чем больше яма, тем величественнее здание", когда узнаешь о научных достижениях ибанцев, — они изобрели сверхмощный "пролазыр", открыли "изматрон", который "представляет собою единство противоположностей, все время переходит из количества в качество, одновременно находится и не находится в одном и том же месте, развивается от низшего к высшему путем отрицания отрицания по спирали и регулярно переходит на сторону пролетариата", — испытываешь тихую радость, как при встрече с давним хорошим знакомым. Научные исследования ведутся в Ибанске при посредстве "дубалектики", "методом мученых атомов"; "все ибанские стенгазеты похожи друг на друга и различаются только стенками, на которых висят", там существует Академия Ликвидации Безграмотности, Хор писка и тряски, государственный гимн "музыки не имеет, исполняется молча, стоя руки по швам, пока не поступит распоряжение посадить всех". Ибанские ученые вносят свой вклад в науку в виде следующих работ:

"Клеветнические размышления о", "Формалисты на службе у", "Корни современного испокон веков ибанского языка", "Стукачи на службе социальной кибернетики", "Математические модели в теории классификации стука"...

Да это же просто треп! То самое, чем занимались в перерывах между двумя научными заседаниями, на домашних вечеринках, где собирались с исключительной целью потрещаться (один стукач на каждые пять человек); это домашние юбилейные листки, особая школа неофициального остроумия, побочный продукт не всегда творческой деятельности не всегда творческой интеллигенции. Отходами с ее стола, дозволенными цензурой к употреблению, питались телевизионные программы КВН, издатели сборников "Физики шутят" и "Физики все еще продолжают шутить". Что это такое? Разве это литература? Конечно нет. Литература — это "Щит и меч", "Сержант милиции" и "Петровка 38", А это так, игры, забавы взрослых шалунов, литературный быт.

ШИЗОФРЕНИК, КЛЕВЕТНИК, БОЛТУН...

*Раздумья мрачные гнетут
Незрелый разум мой.
Ибанск — он где? Не там. Не тут.
В твоей кишке прямой.*

*Из стихов любимца молодежи
и Органов поэта Распашонки.*

"Ибанск со всеми его проблемами, решениями и прочей требухой выдумал Шизофреник, сидя в компании Сотрудника, Болтуна, Крикуна, Мыслителя, Супруги, Мазилы и всех остальных в Забегаловке. Сделал он это сразу после того, как выдул без закуски пол-литра водки и запил его пятью кружками пива. Не закусывал он не из мелкого пижонства, а потому, что в это время в Ибанске закусывать имели возможность только спекулянты, начальники и их холуи".

Нет никакого сомнения, что именно так дело и было. В какой компании, в каком НИИ, ОКБ, секторе, редакции, музее — не играли в такие игры?

Стоило только чуть-чуть наметить сюжет, и он начинал разворачиваться стремительно, в него, как в воронку вода, норовило уйти все течение жизни, прошлой, настоящей и будущей. Кто-то один всегда бывал вдохновителем и организатором, но дело было общее и каждый нес свой посильный вклад: "Мы не позволим укладывать нашу науку в прокрустово ложе таблицы умножения" (1949), "В суровые годы войны он сменил пиджак и авторучку на бушлат и автомат" (1956), "В речи на открытии морга имени XXV партсъезда..." (1968), "Мы, глухонемые и паралитики еврейской национальности"... (1972)*. В каждом кругу слагался свой эпос. И не раз говорилось, наверное, что вот надо бы записать, но никогда не хватало времени и... и той серьезной мысли, той внутренней значительности, которая перевела бы литературный факт из быта в литературу.

Домашнее свободомыслие, бытовая оппозиция официально были той культурной атмосферой, в которой сгустились в историко-литературные явления поэзия Галича и Булата Окуджавы: "В период Растерянности в Ибанске появилось великое множество певцов, которые сами сочиняли песни и музыку к ним и сами их исполняли. Выступали они обычно в частных домах за выпивку и закуску. Да и то лишь постольку, поскольку выпивка и закуска были необходимым элементом исполнения и восприятия исполняемого". Из этого же научного и артистического круга вынес Александр Зиновьев свой хронограф, свой документально-сатирический эпос.

Дополнительное удовольствие читателю решать методом подстановки: Хозяин — Сталин, Хряк — Хрущев, Правдец — Солженицын, Двuruшник — Синявский, Певец — Галич, Мазила — Неизвестный, любимец молодежи и Органов поэт Распашонка — Евтушенко. А где же сам хроникер? Шизо-

*Это из эпоса другой, не зиновьевской компании.

френик? Клеветник? Болтун? — Пожалуй, что автор разложил себя натрое, а может, дал несколько вариаций самого себя.

Отбросив, как мелкую для себя и недостоверную литературную традицию нового времени, философ, став писателем, нашел свой источник прежде всего в сфере его собственной профессиональной деятельности, затем — в фольклоре того народа, к которому он действительно принадлежит, в анекдоте, песне, шутке, неофициальном творчестве нынешней советской интеллигенции. Ясно, что не рабочий класс и колхозное крестьянство, а именно интеллигенция является сегодня носителем фольклорных традиций и продолжает их во всех жанрах. Его литературные родственники не Свифт, не Гоголь и не Щедрин, а Аристофан и Апулей и совершенно очевидно — Рабле. Зиновьев состоит с Рабле в отношениях диалога: он его собеседник, а во многих случаях — оппонент. Как Рабле, он рискует жизнью и свободой, обличая изолгавшееся слово. Пренебрегая недостоверной для него пластикой романа, Зиновьев предпочел плоские и контурные, обозначенные лишь идейной и моральной позицией фигуры. Для него абстракция от характерологических черт персонажа есть такое же неперемное условие правды о человеке, как абстракция от конкретных подробностей множества случаев есть условие формулирования социального закона,

ЭПОХА БОЛЬШОГО СОРТИРА

*Объявляем вам, козявки человека!
Установлено отныне и навеки.
Вплоть до старости и с самого измальства
Все за вас решать намерено начальство.
Ему лучше знать, что кушать вам и пить.
И в каких штанах по улицам ходить.*

Из стихов Певца.

Как в раблезианском эпосе, в ибанском хронографе сняты любые табу, запрещающие к употреблению ту или иную

тематику или лексику. Тема пьянства, фекальная тематика, матерщина без стыдливых многоточий, скабрёзный анекдот и скабрёзное поведение героев не входило со времен Рабле так широко в литературный текст. Пожалуй, можно сказать, что в повествовании об Ибанске эти элементы представлены так же широко, как в качестве первоэлементов они представлены в контексте современной русской жизни. Не обойдена вниманием автора и тема жратвы, но со времен Рабле она претерпела существенное изменение. Раблезианского праздника плоти не происходит в городе Ибанске, поскольку в Ибанске, по случаю наступления "полного изма", жрать нечего, и единственные доступные авторскому обозрению пиры выглядят так: "...стол был завален едой из закрытого распределителя. Шизофреник, увидев в огромном количестве красную и черную икру, севрюгу, судака, салями и прочие вещи, названия которых он не знал, спросил, настоящее ли это. Болтун сказал, что он считал такие продукты давно вымершими ископаемыми".

Все воспоминания героев эпоса (которые не есть эпические герои) сводятся к эпохе строительства первого Сортира, усовершенствованию Сортира, модернизации Сортира, обслуживанию начальству в условиях Сортира; сортирная поэзия представлена в книге большим количеством текстов. Наука в Ибанске сосредоточена в Научно-Исследовательском Институте Житухо-Общественных проблем, сокращенно НИИЖОП. В главе "Социологический анализ" Мазила, объясняя своим приятелям смысл борьбы либеральной интеллигенции с ретроградами эпохи Хозяина, "нарисовал огромный зад и сказал следующее. Крепко взявшись за руки вокруг этой жопы стоят академики и лизут ее. За это она дает им деньги, чины, машины, ордена, дачи. Сзади напирает огромная толпа молодых. Академики кричат, что молодые рвутся кусать ее, и бьют молодых ногами. Бедная, бедная жопа! Она не знает того, что молодые не собираются ее кусать. Они рвутся ее лизать. Но лизать более квалифицированно и за меньшую плату".

ЯЗЫК ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

*Когда в будущем не светит ни черта,
Когда незачем о помощи просить,
Когда жизни подытожена черта,
И захочешь по-звериному завывать,
Когда скулы от молчания свело,
Когда все не верят, что не виноват,
Когда видеть не хотят, как тяжело,
Лишь одно спасет тебя, — ибанский мат.*

Старинный ибанский поэт.

Вся эта сортирная, фекальная и откровенно матерная терминология не может быть объяснена одним лишь озорством и стремлением эпатировать. Зиновьев выпустил из рук книгу, за которую он в любой момент должен быть готов заплатить жизнью. И если в своей философской части она не доступна ибанским начальникам без квалифицированной помощи референтов из числа самой просвещенной и либеральной интеллигенции (которые тем охотнее эту помощь окажут, чем лучше поймут суть написанного их коллегой, оставляющего их самих перед миром и совестью нагишом), то в части воспроизведения ибанского внеисторического быта и сортирных подробностей, даже у нынешнего Заибана — вывихнувшего, если верить рассматриваемой хронике, себе челюсть при попытке произнести слово "межконтинентальная" — недоуменных вопросов не будет. Для такого эпатажа озорство необходимо, но недостаточно.

Каждый раз, как в современном стихе или прозе, статье или филологическом исследовании, бывает употреблено непристойное слово, в сильном негодовании вибрирует не только целомудренно-советская, не выпускающая этих слов из кабинета главного редактора, хоть подчиненных спросите, самая правдивая в мире печать, но и вольное русское литературное зарубежье приходит в страшное волнение и протестующее движение. Однако похоже на то, что роль матерной лексики все повышается в современной русской

литературе, в какую книжку ни глянь — проза ли то Ерофеева, песни ли Галича или лирика Бродского. Зиновьев описывает всеибанский симпозиум по мату: "Симпозиум прошел с грандиозным размахом. Что свое великое внес ибанский народ в мировую культуру в результате своего имманентного развития, читал Секретарь свой доклад, написанный для него Мыслителем. Мат! Это действительно величайшее изобретение человечества. Универсальный сверхязык, на котором можно обращаться не только к трудящимся всей планеты, но и к внеземным цивилизациям, ... Многотысячная аудитория реагировала на это бурными овациями. Даже Заместитель аплодировал стоя. Это был кульминационный пункт единения всех прогрессивных сил Ибанска и вершина либерализма". Не прося у читателей извинения, приведем с чисто академическими целями начало главки "Язык интеллектуалов": "В старину ибанские интеллектуалы обращались друг к другу со словами: дорогой, милый, уважаемый, спасибо, извольте, будьте добры и т. п. Современные интеллектуалы и в этом отношении продвинулись далеко вперед. Они теперь обращаются друг к другу со словами: старик, старый, подонок, пошел на..., вонючка, мудака, засранец, пошел в жопу и т. п."

Не станем вспоминать ни писем, ни эпиграмм Пушкина, забудем о юнкерских поэмах Лермонтова и дневников Белинского касаться не станем. Согласимся: в досоветский период русская интеллигенция не знала ни одного слова, не встречающегося в "Родной Речи". Но не так было на испокон веков загнивающим Западе. Уже Рабле знал, что высокое слово лживо, склонно обозначать и покрывать своим значением самые ничтожные и подлые вещи, что слово, долгое время обслуживающее идеологию — не важно какую — извращено и не более годится для существенного разговора о жизни, чем шлюха на роль наставницы в пансионе для девочек. Матерная лексика, навсегда вынесенная за скобки официального словоупотребления, — последний оплот свободы русского слова. Ненапрасно писатели, все усилия которых направлены нынче на возвращение слова к смыслу и смысла слову, не обходят его своим вниманием. А так как не толь-

ко вредные диссиденты, но и мудрые руководители нуждаются порой в выразительном и неистасканном речении, то у пивного ларька, в научном собрании, в вагоне трамвая и на заседании ЦК мы слышим одну и ту же речь — матерную. Да и много же такого происходит в Ибанске, о чем никаким другим словом не скажешь — не годится другое слово!

ПОЭМА О СКУКЕ

*Глянь на последнего ибанского засранца!
И ты узришь в нем правильный ответ.
Ничего прекраснее, чем было у ибанца,
Как на том, так и на нашем свете нет.*

*Из стихов любимца пенсионеров
поэта Распашонки.*

В раблезианском эпосе жизнь срывала с себя идеологическую узду, доктор медицины Алькофрибас Назье расправлялся с монополистами на знание, осмеивал монахов и схоластов-профессоров, тогдашних научных работников. Не религия, не устремление вверх были ему ненавистны, а монашеская братия, коллеги, те, кто сделал религию идеологической службой, профессией, дающей власть над жизнью и мыслью других людей. В эпосе доктора философии нашего времени пародия серьезна, а серьезный трактат пародиен. Коллегам и партийным (по терминологии книги "братниным") служителям достается на славу. Но в затексте на том месте, где в книге Рабле чувствовалась опора на дружеское окружение, на соратников-гуманистов, Зиновьев ощущает провал под ногами, пустоту, вершину, опрокинутую вниз, — з и я н и е .

В зиновьевском повествовании, построенном по принципу слоеного пирога, где несколько книг с различными сюжетами наложены, перемежаясь, одна на другую, где герой, если он близок автору, подается не только в его житейской практике, главным образом речевой, но и с наглядной демон-

страцией плодов его интеллектуальной деятельности — с его трактатами, курсами лекций, стихами и записями размышлений о прочитанном, — в этом громоздком повествовании есть серия глав, образующая сюжет, называемый "Единство". Это история разложения либеральной общности, предательства коллег и ненависти посредственности к таланту, сдачи либеральной интеллигенцией независимой позиции в поисках позиции зависимой и обеспеченной.

В окрестностях Ибанска негде было бы выстроить Телемскую обитель, где жизнь послушников подчинялась уставу с одним лишь правилом: "Делай что хочешь" — воплощение мечты Рабле, для которой он не нашел во Франции места и потому выстроил в королевстве Гаргантюа. Зато в ибанском мире вечно сооружают величественное здание Сортира, а Великий Ветеринар, "опираясь на первоисточники, начал проводить на необъятных просторах ибанского пустыря знаменитые опыты по скрещиванию арбуза с кукурузой. И добился выдающихся результатов. Коров в окрестностях Ибанска вывели. Молоко стали получать из порошка, а мясо из-за границы". Для низкого и низменного мира, о котором пишет Зиновьев, он не знает никакой антитезы, никакого верха, и в этом плане книга его одна из самых безнадежных: "Всегда так было. Но были Надежды и Иллюзии. Сейчас и это испарилось. Осталась серость в чистом виде" . И еще: "Сама система необычайно прочна и устойчива. Все равно на этом месте уже ничего другого быть не может".

Солженицынскому ощущению исторической драмы порабощенного чуждой ему идеологией народа Зиновьев противопоставляет свое: "Народ в Ибанске начальственен, а начальство народно". По Зиновьеву в Ибанске сбылись все исторические чаяния прогрессистов всех времен. Там именно построено то, что и обещалось согласно первоначальному архитектурному проекту. И никаких загадочных тайн в Ибанске нет. Кухарки там управляют государством, общественное давно задавило личное, распределение происходит по потребностям, которые, естественно, тем больше, чем выше социальная позиция потребляющего.

Солженицын написал книги о трагедии России. Зиновьев видел иные задачи; "Власти инстинктивно чувствуют, что гораздо большую опасность для них представляют не книги о концентрационных лагерях, а книги о закономерностях наших светлых праздничных будней". Не трагедия, а безобразие в центре внимания философа-летописца: "Не нужны исследования, — говорит он в процессе исследования ибанского феномена. — Выводы на поверхности — в кухнях, коридорах, автобусах ". Идиотически-смешной мир, описанный Зиновьевым, крепок здоровьем и устрашающе, безнадежно живуч, ибо — несмотря на домашнее ворчание недовольных — он устраивает ибанцев (независимых же единицы, и управа на них легка), даже оппозиция в Ибанске живет по социальным, то есть ибанским законам — "ведь они же люди, да к тому же еще и ибанцы". В последней части трилогии, где автор, потеснив летописную традицию, дал место "Последующей истории", приблизив свою книгу к жанру антиутопии, он рассказал о том, как ибанцы наконец победили все вражеское окружение и "на всей земле установили Ибанск". И наступила — скука. "Поэма о скуке", третья часть "Зияющих высот", есть самое страшное пророчество относительно близкого будущего, не потому, чтобы в изобретении кошмаров Зиновьев превзошел фантастов Запада, а потому что его предвещения более всего похожи на правду. Вот мир, где Органы сами организуют оппозицию, а оппозиция кормится из рук Органов, где весь народ дружно встал в Очередь за ширли-мырли и где даже торжественно отпраздновали при участии начальства пятидесятилетие Очереди. Все меньше неуступчивых, и даже Мазила ваяет монументальный портрет очередного Заибана. Между тем процветает наука и даже налаживаются отношения с внеибанской цивилизацией. Однако место этой цивилизации не над — в межзвездном пространстве, а под Ибанском. Для Рабле низкое, чревное, плотское в жизни имело противовес в духовном, высоком, бессмертном. Но никакой антитезы ибанскому низу нет. Противовесом Ибанску может быть только Под-Ибанск. Отложившаяся и забытая часть Ибанской метрополии, развившая в себе ибанские законы в большей темноте и с боль-

шим бесстыдством. Под-Ибанск — единственная угроза Ибанску. При взгляде на карту, где в затылок за Китаем и Камбоджей того и гляди встанет в полном составе независимая Черная Африка, эта точка зрения не кажется уж столь неожиданной.

ИНСТРУКЦИЯ О СМЕРТИ

*Написана жизни последняя строчка,
Поставлена в жизни последняя точка.
Жизнь прошла. И теперь все равно,
Был ты герой или только говно.*

Из стихов Крикуна.

Написанное Солженицыным есть трагедия, и ужас ее несет в себе возможность очищения. Написанное Зиновьевым есть кошмар, а из ужаса кошмара выход только в смерть. И любимый герой автора Болтун, осмыслив и поняв всю безысходность, проходит обычную бюрократическую процедуру, согласно принятому в Ибанске Закону о Смерти (тем, кто прошел через местные отделения ОВИР'ов, она не покажется вовсе не знакомой), подавая просьбу о добровольной кремации. "Он не знал, что над выходом из камеры были начертаны слова из последнего пункта Инструкции о Смерти: УХОДЯ, ЗАБЕРИ УРНУ СО СВОИМ ПРАХОМ С СОБОЙ! Но это уже не играло никакой роли".

Будет ли эта удивительная книга иметь для мира существенные последствия? Многим, вышедшим из страны Зэка, бежавшим с островов Архипелага, чтоб донести неведомую миру весть, казалось, что их опыт существен, что Архипелаг рухнет и Страна Зэка исчезнет с карты полушарий, если опыт их обратится в книгу. Но секретов не было никогда. А если они и были, то только потому, что те, от кого ибанцы прятали свои общественные достижения, были заинтересова-

ны не знать их. Нынче уже нет секретов. Написаны книги, И изданы книги. И есть очевидцы. И похоже даже, что мир уже устал от их однообразных рассказов. Читатель тянет со скукой: "Опять про лагеря... Опять про ужасы советской жизни..."

Тут встает вопрос исторический и теоретический; Может ли слово вообще, может ли книга, какая бы то ни была, иметь на судьбы мира какое бы то ни было влияние? На первый взгляд — может. Ведь проигрывается же на нашей шкуре, нашими усилиями литературно-фантастический сюжет о светлом будущем, сочиненный в прошлых столетиях. Но не так-то легко отыскать пример, когда предупреждения об опасности, а ведь и такие бывали книги, были приняты историей во внимание. Может, есть такой историко-социологический закон, по которому литература отрицательное влияние на жизнь иметь может, а положительное никогда. Хорошо было бы спросить у Зиновьева. Его герои, наверное, обсудили и этот вопрос в бесчисленных разговорах обо всем, из которых и составила эта книга. А может быть — вернемся к началу — не дело вовсе литературы вмешиваться в дела истории и давать ей советы, и потому ее влияние всегда оказывается дурным.

Но тут есть одна надежда. Зиновьев не писатель. Он ученый, он философ. А нынче наука в большой цене. Писателя не послушали бы и уже не послушали. Художник, он личность неуравновешенная, насочинит, гляди — не расхлебашь. Но ученый — дело другое.

Тут, правда, есть одна трудность. Возможно, несомненно даже, книга Зиновьева для наилучшего понимания требует некоторого опыта ибанской жизни и вполне доступна только ибанцу, настоящему или бывшему. Допустимы два выхода: или послать для кратковременной практики западных политических деятелей в Ибанск — ну, там, кому семь, кому пять строгого режима, а не то просто пару лет коммунальной квартиры, включая год стояния в очередях, — очень развивает. Или организовать при ООН, или в рамках ЮНЕСКО (пора же и этим организациям заняться чем-нибудь путным) специальную школу для государственных деятелей. Главным

курсом там должно быть систематическое изучение ибанской истории по зиновьевскому летописному своду. Преподавателями можно было бы пригласить бывших ибанцев — их теперь много по миру болтается. А президентом хорошо бы назначить самого Зиновьева, выписав его из Ибанска. Все равно ему теперь по завершении Главного Труда и после отъезда Мазилы нечего там делать.

ДИМИТРИЙ ПАНИН

"МИР-МАЯТНИК"

Этические принципы людей доброй воли
Мир-маятник (Осциллирующий мир)
Какой путь выбрать

Русский философ и инженер, Д. Панин, после 16 лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях опубликовал на Западе "Записки Сологдина", "Вселенная глазами современного человека", "Солженицын и действительность". Автор книги "Мир-маятник" призывает людей доброй воли всех стран земного шара не дать остановиться развитию человечества, приближающемуся к конечной точке размаха маятника. Конструктивные решения опираются на законы природы, данные науки и положения, проверенные жизнью.

Цена книги в Израиле — 32 лиры, в США и Канаде - 6 \$, во Франции - 32 F.FR, в Германии — 16 DM.

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

A.D.P., B.P. 79, 75762 Paris Cedex 16, France.

Книга продается в русских магазинах.

В январе 1977 года пражские друзья, с которыми я воевал против немцев в рядах Советской армии и потом проработал четверть века еще, прислали мне полный текст "Хартии-77". Среди подписавших "Хартию" были доктор Франтишек Кригель, бывший председатель Народного фронта Чехословакии, доктор Иржи Гаек, бывший министр иностранных дел, легендарный Людвиг Вацулик, бывший редактор газеты "Литерарни листы" и автор знаменитого манифеста "Две тысячи слов", и другие. Авторы "Хартии-77" не предлагали ничего нового. Они требовали осуществить лишь то, что изложил в своей Программе Действий Александр Дубчек весной 1968 года. Власти ответили жестокими преследованиями, объявив их, по давно известным сталинским рецептам, прислужниками мирового сионизма и империализма. Главной атаке подвергся д-р Франтишек Кригель — тот, кто единственный отказался скрепить своей подписью советскую оккупацию в Праге, но зато первый подписал "Хартию-77".

И вот, когда я прочел этот документ, я понял, что мой долг передать гласности архивы, которые я вел более 30 лет, будучи офицером по делам печати президента Свободы и Министерства обороны. И таким образом, если и не открыть в полной мере правду (эта задача, по-видимому, вообще не под силу одному человеку), то, по крайней мере, приблизить момент, когда вся правда о Пражской весне станет достоянием мировой общественности. И вместе с тем, быть может, эти воспоминания помогут понять, в чем смысл сегодняшних требований чехословацких борцов за свободу — продолжателей дела Пражской весны.

Я пишу эти воспоминания, не испытывая ненависти к русскому народу и советским солдатам, но я ненавижу тот режим и ту власть, которая 21 августа 1968 года принудила одного из этих солдат приставить дуло своего автомата к моей груди — на мне был мундир полковника Чехословацкой народной армии с двадцатью четырьмя орденами, в том числе четырьмя высшими советскими наградами. Тогда я, кажется, впервые понял — нет, не понял, а ощутил на себе, что принес свободному чехословацкому народу день 21 августа 1968 года.

Михаэль Стефанек.



Михаэль СТЕФАНЕК

ПРАГА, 21 АВГУСТА

Из воспоминаний личного офицера по делам печати президента Свободы.

НАЧАЛО

5 марта 1968 года я в числе других бывших бойцов Чехословацкой бригады был приглашен на завтрак к президенту в Пражский град. Этот торжественный завтрак был посвящен 25-летию боя под Соколовом, в котором принимал участие батальон, возглавляемый полковником Людвигом Свободой во время Второй мировой войны. В первый и последний раз за двенадцать лет своего правления президент Новотный пригласил к себе в Пражский град солдат чехословацкой армии. По-видимому, в это утро Антонин Новотный и сам уже не сомневался, что дни его сочтены. За два месяца до этого в январе 1968 года он вынужден был сложить с себя полномочия Первого секретаря ЦК КПЧ. Передав их Александру Дубчеку, он теперь пытался предстать в последний раз в облике рабочего президента, решившего по-дружески побеседовать с ветеранами чехословацкой армии.

Но как только он прочел по бумажке несколько официальных, подготовленных к этому случаю фраз, в роскошном зале Пражского града возникла ситуация, которую вряд ли мог представить себе кто-нибудь из гостей. Сотни

фронтовых друзей, в прошлом рядовых бойцов бригады Свободы, а теперь высших офицеров чехословацкой армии и сил госбезопасности, окружили мгновенно, точно по приказу, своего старого седовласого командира Людвиг Свободу, который сейчас привел нас сюда на торжественный завтрак в президентский дворец. И такой же тесный круг образовался возле молодого Александра Дубчека, наследника Новотного, нового секретаря ЦК КПЧ. И вот уже выросшая вдруг живая стена людей, нескончаемые рукопожатия, веселые голоса и шутки, а посреди зеркального зала Пражского града стоит одиноко, не зная, куда себя деть в этой необычной ситуации вчера еще всевластный президент Антонин Новотный. Кто из нас еще несколько месяцев назад мог представить себе эту фантастическую картину! Ведь это было настоящее оскорбление, которое не могло не унизить и не уязвить Антонина Новотного. По видимому, Дубчек почувствовал щекотливость ситуации, в которой оказался глава государства. Он попробовал пробиться сквозь живую стену людей, но ему это не удалось — круг боевых ветеранов сомкнулся около него и Людвиг Свободы еще теснее. На худом лице Дубчека появилась озорная мальчишеская улыбка, он поднял руки вверх как бы в знак того, что он сдается. "Я вижу, — сказал он на мягком словацком языке, — что вы еще не забыли свои военные профессии. Сдаюсь и прошу прощения". В живой стене образовался проем, Дубчек проскользнул в него и направился к одиноко стоящему посреди зала Новотному, очень медленно шел за ним генерал Свобода. На этот раз его солдаты за ним не последовали. Мы остались на наших позициях.

Я нарисовал перед читателем эту сцену, для того чтобы вначале чисто внешне представить Александра Дубчека, к которому еще не раз будут обращаться и современники, и будущие историки. "Для политика он был слишком приличен и лоялен", — писал о нем его ближайший сотрудник Моравус, выступающим под таким псевдонимом в журнале "Листы", выходящем в Риме.

К этой пока еще слишком общей характеристике мне, встречавшему Дубчека в самых разных ситуациях — и в часы его политического взлета, и в минуты трагического крушения, — хотелось бы еще добавить, что Дубчеку был свойствен дар возбуждать к себе симпатии окружающих его людей. Так же как, впрочем, этим даром обладал и Людвиг Свобода, хотя это были совершенно разные люди. Это чисто человеческое обаяние Дубчека еще отчетливее выступает, когда сравниваешь его с Густавом Гусаком, человеком жестким, холодным и беспощадным и о котором, уж во всяком случае, не скажешь, что для политика он был слишком приличен и лоялен. Впрочем, на политической арене Гусак появился гораздо позже, совсем не в те дни, о которых я пишу, вспоминая прием в Пражском граде.

Что же касается политической ориентации Дубчека, то вряд ли правы те историки и исследователи, которые склонны приписывать его убеждениям некое противодействие линии советского ЦК. Александр Дубчек по меньшей мере в начале своей карьеры был несомненно доверенным лицом Москвы. И не только потому что, как полагают, он учился в Москве в Высшей партийной школе вместе с Леонидом Брежневым. Многие давало основания московским руководителям считать Дубчека своим человеком. Немало лет он провел в Советском Союзе, он говорил на русском языке, как русский. В годы, когда он служил в чехословацкой контрразведке, он проводил много времени с советскими офицерами. И возможно, по всем этим причинам, а главное, в силу идеологической близости с советской компартией он относился к СССР с глубокой и искренней симпатией.

В начале Пражской весны 1968 года Александр Дубчек был уже безусловно опытным деятелем партии, но далеко не столь опытным дипломатом и политиком, И, например, люди, близкие ему в те дни, не могли не видеть в нем некоего легкомыслия, какого партийный деятель советского типа никогда не мог себе позволить.

Сразу же после избрания его Первым секретарем ЦК КПЧ Дубчек, вместо того чтобы углубиться в партийные дела и принять содержимое партийных сейфов Праги, отправляется в Братиславу, где проходят соревнования по хоккею, чтобы занять место в шумных рядах болельщиков.

Весь январь 1968 года в Праге никто не знал, что творится наверху, хотя Дубчек уже был избран Первым секретарем ЦК КПЧ. Никто не знал, что нужно делать. Время шло, люди теряли терпение, необходимо было их успокоить.

Чтобы изложить свою программу, Дубчек выбрал, пожалуй, самый неподходящий момент — торжественное собрание, посвященное двадцатому юбилею февральской революции 1948 года, когда, как известно, коммунисты пришли к власти.

На торжественное заседание, состоявшееся 25 февраля в Праге, съехались руководители стран Варшавского пакта. На трибуне рядом с Дубчеком сидели Брежнев, Ульбрихт, Гомулка. Людвиг Свободы на трибуне не было. Свобода тогда еще находился за кулисами. Я тоже был в этом зале в качестве корреспондента центральной газеты чехословацкой народной армии "Обрана Лиду" ("Оборона народа").

Дубчек выступал на этом совещании с большой речью, текст которой наша редакция получила за сутки до открытия совещания. Однако после того, как он кончил говорить — я дословно записывал все сказанное им, — появился совершенно новый текст, который я тотчас же передал в газету. Как я теперь понимаю, в глазах сидящих на трибуне руководителей "братских" партий эта речь выглядела едва ли не как провокация. Они не могли не прийти в ужас только от того, что все предлагаемое Дубчеком при определенных обстоятельствах перешагнуло бы через границы и распространилось бы в их государствах. Да и на нас, журналистов, все услышанное подействовало точно так же.

Я цитирую только некоторые фразы, вернее, только некоторые слова из его речи. "В социалистической Чехословакии должна быть свобода мысли, как и свобода слова и свобода печати. Свобода собраний, свобода передвижения и поездок

за границу, в страны Запада. Свобода профсоюзов, свобода религии. И право на всеобщие и тайные выборы, как и — а это была самая ядовитая стрела по адресу Московского Кремля, Восточного Берлина и Варшавы — возможность победы большинства (читай не только коммунистического) в политической и межпартийной игре". Все это в полученном вначале тексте доклада отсутствовало и появилось лишь позже в зале заседания.

Сказывалась нехватка опыта у некоторых советников Дубчека по внешнеполитическим вопросам, если он огласил эти действительно революционные пункты программы КПЧ в присутствии и, я бы даже сказал, в пику коммунистическим руководителям стран Варшавского пакта. Кто знает, может быть, именно в этот момент пустило первые ростки ядовитое семя конфликта, вылившегося впоследствии в советскую оккупацию Чехословакии и события, которые мы называем сегодня Пражской трагедией.

Так или иначе, я думаю, именно с этого времени Дубчек попал в поле зрения московских военных ястребов — маршала Гречко, генерала Епишева, шефа военного политического командования Советской армии. По-видимому, именно тогда за кремлевскими кулисами Дубчеку впервые начали инкриминировать то, что он открыл зеленый свет контрреволюционным силам в Чехословакии. К тому же все это происходило в ситуации, когда Дубчек ни в Центральном Комитете партии, ни в Президиуме ЦК, ни в политическом аппарате армии не имел твердого большинства. Единственно, на кого он тогда мог положиться — это на шефа политического отдела чехословацкой армии Вацлава Прхлика. Он мог также положиться на ветеранов Чехословацкой военной бригады, сражавшейся в Советском Союзе, за исключением — и это звучит как парадокс — командира бригады* Людвиг Свободы.

Когда Дубчек решил на то, чтобы объявить о созыве партийного съезда в сентябре 1968 года (где должна была быть утверждена его программа действий), — его акции

* Эта бригада, а впоследствии корпус, выросла из батальона, сражавшегося под Соколовом.

круто поднялись вверх. Притом не только в глазах многих членов партии, но и в глазах миллионов чехословацких обывателей. Это с одной стороны, а с другой — решение в сентябре созвать съезд, для того чтобы утвердить "реви-зионистскую программу, выглядело уже как открытый вызов руководителям "братских" компартий.

ЙОЗЕФ СМРКОВСКИЙ

Мне кажется, что до конца жизни я не смогу забыть атмосферу тех дней, когда впервые за четверть века люди смогли вдохнуть воздух свободы. Как передать эту атмосферу сейчас, по прошествии времени? Какими словами? Перед глазами встают картины весенней Праги 1968 года. На улицах толпы людей, шумные студенческие сходки, самодельные трибуны. В день Первого мая в учреждениях никто никому не предписывает, где собираться, куда следовать. Никто не говорит вам: встреча вашей группы там-то, быть в восемь ноль-ноль и т.д., и было очень интересно: придут люди или не придут, когда никто не был обязан являться.

Трудно передать, как выглядела Прага в это утро. Были полны не только площади и улицы — невозможно было вообще двигаться. А когда спустя несколько часов я пробился к площади Вацлава, где стояла трибуна, с которой обычно коммунистические вожди принимали парад и демонстрацию, то просто раскрыл от удивления рот. Такого я еще никогда не видел. Трибуна пустовала. Зато рядом образовались многочисленные пробки: стоял Дубчек, окруженный людьми, другой кружок образовался вокруг Шика, неподалеку — генерал Павел, участник гражданской войны в Испании и новый министр внутренних дел. Я слышал, как кто-то спросил его: "Скажите, пожалуйста, что это за анархия? Руководители совершенно без охраны". В ответ, помнится, генерал Павел сказал: "Если мы не можем стоять среди наших людей здесь, то нам вообще тут нечего делать".

Я видел, как люди окружили Шика и спорили с ним по вопросам экономики и зарплаты. Рядом шутили и разговари-

вали с Дубчеком. Кто-то сверху дал им напиток кофе, потому что они все время говорили и не могли отойти.

Это был первый раз, когда возникло чувство, что Прага действительно зажала по-новому. И казалось, уже ничто не будет способно повернуть назад колесо истории. Но, видно, слишком хрупким было оно, это колесо истории XX века.

Не прошло и нескольких лет, и Пражская весна 1968 года ушла в небытие. Трудно поверить, что за столь короткий срок смогла так неузнаваемо измениться Чехословакия. Хмурые отчужденные люди. Ложь. Двуличие. Боязнь сказать слово. Так, по письмам моих друзей, выглядит Прага сегодня. Так она выглядела и в 1974 году, когда 18 января в пять часов вечера хоронили Йозефа Смрковского, бывшего вождя пражского восстания, бывшего председателя парламента, бывшего члена Президиума ЦК, — но в 1974 году уже отщепенца, троцкиста, связанного через бывшего начальника своей канцелярии с международным империализмом и сионизмом, и даже расхитителя социалистической собственности. Такова была эта трагическая метаморфоза, постигшая далеко не одного Смрковского.

Власти не только не разрешили хоронить Смрковского в его деревне (согласно его предсмертной воле), но и вообще ни на одном из кладбищ Чехословакии. Его тело сожгли в маленьком крематории "Мотоль" на окраине Праги, куда, по расчетам чешского КГБ, людям трудно будет добраться. И все же в помещении крематория в момент кремации Смрковского присутствовало триста человек, а у его здания стояло еще семьсот, пробившихся сюда сквозь кордоны тайной полиции. Митинг в крематории провести не дали: когда люди начали говорить, включили на всю мощь музыку. Даже прах Смрковского долго отказывались вернуть жене, пытаясь переправить урну с его останками через южную Богемию в Австрию. Не было в том ничего случайного, что даже для останков Смрковского не оказалось места в гусаковской Чехословакии.

Это был человек совершенно особого рода, не знавший извилистых путей в жизни. Если его спрашивали: правда

ли, что такой-то коммунист совершил подлость, — он отвечал: "Да, он совершил эту подлость". И не будет крутить и не будет искать оправданий в марксистско-ленинской теории. Он не был способен кривить душой и не представлял себе, что значит не ответить на вопрос, заданный ему, сколь бы ни был труден этот вопрос, впрочем, я, кажется забегая вперед.

С Йозефом Сморковским я познакомился буквально наавтра после войны, 10 мая 1945 года. Еще за пять дней до этого я услышал по радио о восстании в Праге. Тогда передали, что восстанием руководили доктор Пражак и Йозеф Сморковский.

И когда вместе с редакцией армейской газеты я вошел в Прагу, то увидел его самого. Если можно себе представить человека, ничем не примечательного внешне, некрасивого, с большим хрящеватым носом, худенького, то таким я увидел в первый раз Сморковского — без пиджака, в цветной клетчатой рубашке. Я, кажется, спросил его: много ли жертв было во время восстания. Он ответил, что не знает. Потом сказал, что "немчура" разрушила ратушу, но "ничего, мы отстроим ее". Позже, после января 1968 года, я несколько раз слышал выступления Сморковского. Он не был велеречив, никогда не говорил кудрявыми, мудреными фразами, но обладал способностью заставлять людей верить своим словам.

Накануне встречи в Пражском граде у Новотного, 4 марта 1968 года, я сидел рядом со Сморковским в Доме чехословацкой армии на торжественном приеме, устроенном чехословацким министром обороны Богомиром Ломским опять же по случаю двадцатипятилетия легендарного боя.

Председательствует на вечере бывший командующий Чехословацкого военного корпуса Людвиг Свобода, И было совсем не случайно, что по левую руку от генерала Свободы сидел председатель чехословацкого парламента Йозеф Сморковский, а по его правую руку советский посол в Праге Червоненко.

Старый, семидесятитрехлетний генерал Свобода и еще сравнительно молодой Сморковский, занявший высокий государственный пост в стране, — хорошие друзья. Я сижу напротив, и похоже, что мне представляется возможность подслушать разговор нескольких ведущих государственных деятелей — возможность, которая не каждый день выпадает на долю журналиста или историка.

Своим присутствием на этом вечере я обязан двум обстоятельствам. Я — один из немногих оставшихся в живых чехословацких солдат, которые под командованием тогда еще полковника Людвиг Свободы участвовали в боях у маленькой деревушки Соколово под Харьковом. С другой стороны, я так же, как генерал Свобода, стал одной из жертв показательных процессов 50-х годов, впрочем отделавшись, в отличие от Сланского и его соратников, лишь "синяками" — кратковременным арестом и несколькими, правда требующими железных нервов допросами в чехословацкой тайной полиции.

За стаканчиками крепкой московской водки развязались языки, обычно скованные военными и дипломатическими тайнами. Тут-то и возник довольно-таки острый разговор между Сморковским и одним старым ветераном, который также сражался под командованием генерала Свободы под Соколовом, а после войны, будучи сотрудником еврейского генерала Фрица Райцина, провел долгие годы в тюрьме (генерал Райцин проходил в процессе Сланского в ноябре 1952 года в Праге. Был приговорен к смерти и в декабре 1952 года казнен как агент западных империалистов и мирового сионизма). И вот на вопрос бывшего сотрудника Райцина к Сморковскому: есть ли наконец у него теперь шанс на полную реабилитацию и может ли он потребовать наказания его судей и их советников из советских судебных органов — Сморковский отвечает: "У тебя не только право, но и долг потребовать это. Я сделаю все, что в моих силах председателя парламента, чтоб это твое право нашло отражение в законе". В зале гремят бурные аплодисменты. Советский посол Червоненко тоже аплодирует и вежливо улыбается.

Советник — это по-чешски порадце. Возможно, Червоненко плохо понимает по-чешски? А Смрковский? Хорошо ли он осознает, что сказал. А если осознает, то в эту минуту трудно не оценить его откровенность и мужество.

По-видимому, до конца он все-таки не отдавал себе отчета в сказанном. Опытный подпольщик и коммунистический конспиратор, вряд ли в этот вечер в присутствии советского посла ответил бы так, как ответил он на следующий вопрос солдата армии Свободы. Вопрос: "Правда ли это, что Чехословацкий народный совет, который руководил Пражским восстанием в мае 1945 года, вел переговоры об отступлении немецких войск с полным вооружением из Праги?" Ответ: "Были среди нас некоторые слабодушные, которые готовы были принять это детское условие гитлеровских солдат. Они говорили: "Немцы будут атаковать нас танками, а у нас нет пушек". "Тогда мы будем бить их гранатами", — ответил я. "Но у нас нет и гранат". "Тогда мы вырвем булыжники из мостовой на площади Вацлава, — сказал я. — С диктаторами и оккупантами не ведут переговоры, в них стреляют".

В зале стояло ледяное молчание. Это были дерзкие слова. Еще правил в Пражском граде старый сталинист, бесконечно преданный Московскому Кремлю Антонин Новотный, и вряд ли в этот вечер, 4 марта 1968 года, Йозеф Смрковский предчувствовал, что всего полгода спустя начнется травля его самого, которая ничем не будет отличаться от дьявольской организованной травли на политических процессах во времена чехословацких "рабочих президентов" Готвальда, Запотоцкого и Новотного.

РАСКОЛ

Однако, как уже было сказано, в мае-июне 1968 года авторитет Дубчека и его сторонников рос изо дня в день, особенно велика их популярность в местных парторганизациях. И не случайно, когда представители консервативного кры-

ла ЦК КПЧ Индра, Кольдер, Швестка и другие после областных партконференций подсчитали голоса, они пришли к выводу, что судьба их, в сущности, предрешена, что предстоящий партийный съезд лишь подтвердит их поражение. Я это очень хорошо помню, на областных конференциях все были за Дубчека, за них — никто.

С этого времени реально возросла опасность военного вмешательства государств Варшавского пакта. Будучи личным офицером по делам печати президента и министра обороны, я имел доступ почти ко всем источникам информации. Для меня не было тайной, о чем совещались руководители стран Варшавского пакта в Черне над Тиссой. Первое и самое главное требование, которое выдвинул Брежнев в Черне, — это отложить намеченный на сентябрь съезд партии и вначале провести чистку кадров в руководстве ЦК КПЧ.

Тогда еще мало кто из числа руководящих партийных и военных деятелей понимал смысл требования Брежнева. И еще меньшее число людей готово было открыто признаться самим себе, как на самом деле обстояло дело. К числу этих людей, по-видимому, не принадлежал мой шеф президент Людвиг Свобода. Выйдя из здания Дома железнодорожников в Черне, где проходило совещание партийных и правительственных делегаций стран Варшавского пакта, он подошел к своему личному секретарю, подполковнику Ярославу Томчику, который вместе со мной ждал его у выхода. Свобода выглядел в этот момент очень усталым, но его светло-голубые глаза дружески улыбались. Он ничего не сказал о переговорах, в которых участвовал, а только намекнул, что в ближайшее время состоится новая встреча с советскими товарищами. Есть еще некоторые вопросы, которые необходимо обсудить. "Но только я не уверен, — обратился теперь он ко мне, — что и на этот раз вы будете меня сопровождать. Советские товарищи настаивают на том, чтобы мы сменили наших сотрудников и референтов, которые были до сих пор, главным образом журналистов", — и он успокаивающе хлопнул меня по плечу.

Слова генерала Свободы довольно скоро претворились в жизнь. Неделию спустя после его возвращения из Москвы,

где велись переговоры с руководством Кремля, 3 сентября 1968 года я был снят с поста личного офицера по делам печати президента и министра обороны.

После переговоров в Черне над Тиссой Президиум ЦК КПЧ распался на две группы. Кольдер, Биляк, Швестка, Индра уже не принимали больше участия в работе по созыву съезда партии. Они демонстративно поехали в отпуск в южную Чехию в замок Орлик. Однако вели себя совсем не как отпускники, которые после тяжелой работы ищут отдых, катаясь на лодке по озеру или сидя с удочкой на берегу.

Дубчек был очень хорошо информирован о их времяпрепровождении в те дни. Одновременно с ними в замок Орлик прибыли сотрудники секретариата ЦК КПЧ, офицеры политуправления чехословацкой армии, которые также получили указание провести отпуск на берегу этого живописного озера. Получил такое указание и я и вместе с другими офицерами мог наблюдать, как в лагере противников Дубчека идут какие-то энергичные приготовления. Например, помню, в один из жарких дней, когда мы все отправились купаться на озеро, они продолжали, не выходя, сидеть в своих комнатах. Впрочем, и нашу миссию они хорошо понимали. Индра шутя называл нас "разведчиками". Мы же в свою очередь докладывали в ЦК и военно-политическое управление о каждом их шаге: в 12.00 вышли на прогулку, в 14.30 отправились обедать и так далее. В Орлике я провел совсем мало времени и, по указанию военно-политического управления, во второй половине августа выехал в восточную часть республики, на границу с Польшей и Советским Союзом, откуда я должен был докладывать о всех происходящих здесь событиях.

Между тем именно 20 августа было созвано заседание Президиума ЦК КПЧ, где было принято решение о кардинальных переменах в руководстве партии в пользу Александра Дубчека и его сторонников.

Тогда же Президиум ЦК решил созвать внеочередное собрание коммунистов Праги. Оно должно было состояться после специального указания Дубчека.

Чехословацкое радио, пресса и телевидение и в первую очередь армия и полиция находились на чрезвычайном положении. Пограничные войска были приведены в боевую готовность. Дубчек исходил из логически правильного предположения, что верные Москве силы предпримут решающую акцию. Они действительно ее предприняли, только несколькими часами позже, может быть, тут решающую роль сыграл тот почти анекдотичный факт, что по-разному истолковали один и тот же час: в Кремле руководствовались московским временем, а в Чехословакии — среднеевропейским. Между тем напряжение достигло наивысшей точки. Еще в июле 1968 года пражский обком требовал от Дубчека ускорить созыв партийного съезда. Тогда он стремился всячески оттянуть съезд, подчеркивая, что не следует раздражать и провоцировать советцы. 20 августа, когда события уже невозможно было повернуть назад, он на Президиуме ЦК сказал: "Теперь пусть идет!"

На рассвете 21 августа советские транспортные самолеты с танками приземлились в пражском гражданском аэропорту Рузине, и сразу же первая танковая колонна двинулась к центру города, к зданию Центрального Комитета партии, в двухстах метрах от которого я жил со своей семьей — с женой и двумя дочерьми, двадцатилетней Татьяной, комментатором пражского радио, и восемнадцатилетней Яной, студенткой факультета права Пражского университета.

Теперь время остановиться и рассказать о том, как подготавливалась эта интервенция.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС

23 года, будучи полковником чехословацкой армии, я работал офицером по делам печати Министерства обороны в Праге. За это время на посту министра обороны сменилось четыре генерала. С тремя из них я прошел во время Второй мировой войны весь путь от Урала до Праги. Это были Люд-

виг Свобода, ставший во время Пражской весны президентом республики и находившийся на этом посту до 1975 года, то есть до болезни; Богомир Ломский — министр обороны с 1956 года до 1968 года и Мартин Дзур, занявший этот пост в начале 1968 года. Четвертый министр — бывший адвокат доктор Алексей Чепичка. Свой пост он получил, будучи зятем первого "рабочего" президента Клемента Готвальда. (Чепичка как военный был дилетант, но как палач — крупный специалист, являясь одним из организаторов показательных процессов 50-х годов.)

Генерала Свободу я знал, пожалуй, лучше всех, Я знал его как простого, добросердечного, открытого человека, который был горячим чешским патриотом (а не "маршалом Петеном", кем он стал впоследствии). Примером для него служил основатель Чехословацкой демократической республики профессор Томас Гарик Масарик.

Преемник Чепички генерал Ломский во время Второй мировой войны был заместителем и правой рукой Людвига Свободы.

Весной 1968 года он был снят со своего поста, по-моему, несправедливо, и, во всяком случае, этот шаг никак не сослужил добрую службу Дубчеку и его сторонникам.

На его место "старый хозяин" (так мы звали Свободу еще со времен войны, когда ему было всего 43 года), ставший к тому времени президентом и главнокомандующим чехословацкой армией, посадил словацкого генерала Мартина Дзура.

Молодым солдатам чехословацкой народной армии имя Мартина Дзура вообще ничего не говорило. Как бывшего заместителя министра обороны его знали, быть может, командиры дивизий, им приходилось прямо или косвенно контактировать с ним по вопросам поставок вооружения, что входило в его функции. Что он представлял собой на самом деле, по-видимому, в то время для них не играло большой роли, к тому же, как человека они его мало знали. Однако большинство ветеранов Чехословацкой бригады, сражавшейся в Советском Союзе, совсем не были в восторге от назначения Дзура. "Неужели, — думали они, — "старый хо-

зяин" даже не удосужился прочесть личное дело нового министра, где черным по белому было написано, что бывший словацкий капитан Мартин Дзур в 1939 году (добровольно!) вступил в Глинка-Гарда (словацкая СС).

С другой стороны — об этом было уже известно в 1943 году в штабе Чехословацкой бригады, — Дзур отнюдь не добровольно вступил в ряды Советской армии, а попал в плен, когда воевал бок-о-бок с гитлеровскими солдатами. Сам генерал Дзур на эту "интересную" тему позже не любил распространяться.

Правда, уже тогда некоторые открыто говорили, что Дзур — человек с головой двуликого Януса.

Впервые я близко увидел его в январе 1968 года на бурном и, я бы сказал, драматическом собрании партийной организации Министерства обороны.

Председательствовал на нем тогдашний руководитель партийной организации Министерства обороны генерал Шейна. Позже, в конце февраля 1968 года, он удрал в Америку (когда из прессы стало известно о его некоторых неблагоприятных делах, еще во времена президента Новотного).

На упомянутом собрании Шейна выступил с "проникновенной" речью, выдержанной вполне в духе Новотного (он тогда уже был снят с поста первого секретаря ЦК КПЧ, но еще оставался президентом республики). Закончив речь, Шейна поставил на голосование резолюцию, автором которой был он сам и которая была проникнута духом непоколебимой преданности Новотному.

"Кто за?" — спросил Шейна. Послушно, как это было уже двадцать лет на партийных собраниях Министерства обороны, подняли товарищи руки.

"А кто против?" Присутствующие обнаружили, что единственным, кто проголосовал против, был... генерал-лейтенант Мартин Дзур. Я оглядел зал, в котором я присутствовал как корреспондент центральной газеты чехословацкой народной армии "Обрану Лиду". Мартин Дзур был действительно единственным в этом большом зале, кто решился в тот момент проголосовать против — он, по-видимому, уже понял, что корабль Новотного идет ко дну.

Генерала Шейну я с тех пор уже не видел. Лишь на экранах чехословацкого телевидения иногда появлялся его портрет, когда американские репортеры комментировали его побег из Праги.

В истории побега Шейны самым интересным было то, что ни тогда, ни позже так и не удалось установить, кто в Министерстве обороны, генеральном штабе и Министерстве внутренних дел помогал этому доверенному лицу Новотного столь тщательно подготовиться к заранее запланированному побегу. Шейна исчез с целым чемоданом строго секретных военных и партийных документов. (Сейчас он публикует в Соединенных Штатах свои мемуары, в которых много интересного, касающегося событий в Чехословакии, но о собственной персоне он предпочитает особенно не распространяться.)

Итак, через несколько недель после бегства Шейны генерал Дзур стал министром обороны. Командующий войсками стран Варшавского пакта маршал Якубовский предложил ему довольно скоро провести военные маневры этих войск в Чехословакии, на что Мартин Дзур охотно согласился. По-видимому, уже тогда он предчувствовал нарастающий конфликт и понимал, что в случае столкновения советского корабля и чехословацкой ореховой скорлупы советский корабль вряд ли потонет.

В середине мая 1968 года я сопровождал президента Свободу и его жену Ирену в их поездке в Восточную Словакию. На ужине, устроенном по этому поводу, кроме Свободы и его жены присутствовали генерал Дзур, министр внутренних дел Йозеф Павел, словацкий министр Цолотка, личный врач Свободы словацкий еврей полковник доктор Бернат и я.

"Когда начнутся маневры?" — спросил "старый хозяин" министра обороны.

"В начале июня".

Свобода одобрительно кивнул головой.

В четверг, накануне Троицы, — было это в мае 1968 года — Антонин Новотный был выведен из Центрального Комитета партии. В тот же день в прессу было передано следующее

заявление министра обороны генерала Дзура: "Некоторые советские подразделения, главным образом подразделения связи, находятся в Чехословакии. Цель, — сообщал он, — штабные маневры". Это была явная попытка ввести в заблуждение народ Чехословакии и мировое общественное мнение. Ведь еще за неделю до этого тот же Мартин Дзур в прессе, по радио и телевидению энергично отрицал, что армии стран Варшавского пакта, особенно советские части, присутствуют на территории Чехословакии.

Через два дня после этого заявления я побывал в нескольких гарнизонах чехословацкой армии в Чехии и Моравии, для того чтобы написать репортажи для газеты "Обрана Лиду".

Вначале на аэродроме вблизи Праги, а затем на плацдарме в Либаве, маленьком городке в Моравии, я встретил крупные советские танковые части. Русский майор прикрыл рукой объектив фотоаппарата, который я достал, чтобы сфотографировать увиденное. "Фотографировать запрещается, товарищ полковник", — сказал он дружески, но очень решительно.

На обратном пути я пересек маленький городок Лиса, несколько километров восточнее Праги, неподалеку от самого крупного военного лагеря в Чехословакии Миловицы. Возле домов, где жили семьи чехословацких офицеров, стояли грузовики, доверху наполненные мебелью и домашней утварью. Я спросил одну заплаканную молодую женщину, что это значит. "Мы должны освободить дома для семей наших русских друзей", — в ее голосе я почувствовал ненависть.

Обо всем этом я в тот же день сообщил генералу Дзуру. Он без особого интереса выслушал и затем спросил: "Это все? — Я удивленно на него посмотрел. — Спасибо тебе! — сказал он, приветливо улыбаясь. — Можешь идти".

В конце мая — начале июня я встречал подразделения армий Варшавского пакта и в Западной Чехии, на границах с Западной и Восточной Германией.

Люди явно испытывали раздражение от присутствия большого количества советских частей, участвующих в "манев-

рах", особенно раздражали подразделения Восточной Германии. Ее солдаты в мундирах, сделанных по образцу гитлеровских, всюду натывались на страх и ненависть. Тем более после того как генерал Дзур на другой день после моей встречи с ним, 31 мая, официально заявил, что воинские части ГДР не принимают участия в маневрах.

Маршал Якубовский не разрешил ни чешским, ни тем более иностранным журналистам присутствовать на маневрах. Меня как личного офицера по делам печати генерала Свободы этот приказ не касался. На своем мягком словацком наречии генерал Дзур попросил меня успокоить моих коллег-журналистов по поводу присутствия иностранных войск (стран Варшавского пакта). Он при этом сказал: "Они нас не любят, и мы их тоже!"

Так выглядело одно из двух лиц генерала Дзура, но какое?

Через семь недель после этого, восьмого августа 1968 года, "Литерарни листы" (газета чехословацких писателей и неофициальный орган дубчековских реформаторов) опубликовала репортаж двух своих корреспондентов, которых я встретил в те дни в маленьком городке Средней Словакии Турчанский Мартин. Я приехал сюда после переговоров в Братиславе по приказу руководства политического управления армии, чтобы написать о нескольких гарнизонах, дислоцированных в Средней Словакии.

Ниже я позволю себе дословно привести отрывок из репортажа, который под заголовком "Мы видели" был опубликован в газете "Литерарни листы" и который полностью совпадает с тем, что видел я сам.

"МЫ ВИДЕЛИ"

Итак, о чем же писали корреспонденты газеты "Литерарни листы"?

"Согласно информации, полученной из официальных источников, советские части, по-видимому, наконец покинули территорию суверенной Чехословацкой республики. Центральная пресса почти не уделяет внимание этой щекотливой теме.



**ПРИНИМАЕШЬ УЧАСТИ
В НАСИЛЬСТВЕННОЙ
ОККУПАЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЧЕХОСЛОВАКИИ !**

Но эти приглашенные сообщения отнюдь не удовлетворили многих людей. Слухи о крепнущей "братской дружбе", нашедшей выражение в упорном пребывании советских войск на территории Чехословакии, не прекращались. По некоторым из них, советские танки присутствовали на Западной границе республики, по другим — русские оккупировали Восточную Словакию, и, если мы уж хотим поддаться панике, то есть и такие слухи, что жены и дети русских офицеров начали заселять новые квартиры где-то на северо-востоке Моравии.

Различные более или менее официальные ведомства объявили эти слухи лживыми. И вдруг совершенно неожиданно появилось действительно правдивое известие о том, что генерал Кодай* где-то у Жилины дружески беседовал с советскими солдатами. Это был уже слух, в который трудно было не поверить. Тем более ему придавало пикантный вкус само имя генерала Кодая в связи с его позицией по отношению к реформаторам Пражской весны.

Наше стремление как можно быстрее попасть в район Жилины еще больше подогревалось увиденным на окраине Праги транспарантом, который призывал поддержать Дубчека. Крупными буквами на нем было написано, что присутствие советских солдат вряд ли будет способствовать успешному проведению переговоров в Черне над Тиссой.

Итак, мы ехали в Словакию, чтобы собственными глазами увидеть, насколько правдивой была информация о присутствии советских войск.

В Мартине — легендарном центре словацкого восстания — к нам подсел чехословацкий солдат, который сказал нам, что он их видел сам, около двухсот танков, грузовиков и "газиков", которые как будто бы ехали в Мартин за провиантом, предпочитая при этом получать полуфабрикаты, поскольку варили для себя сами.

* Генерал Самуэль Кодай — член Словацкого парламента, известен своим острым протестом на заседании парламента против публикации "Двух тысяч слов" Людвиг Вацулика, которые Кодай называет воззванием контрреволюции.

Служащие одного местного ресторана дали нам уже более точную информацию. "Есть ли у вас тут русские?" — спросили мы. "Они находятся около километра отсюда, в маленьком лесочке над Мойшова Лучка". Через несколько сот метров к нашей машине приближается ефрейтор в чехословацкой форме и надменно нас спрашивает, чем он может быть нам полезен.

"Мы хотим говорить с командиром советской части, которая вон там на горе разбила свой лагерь". (Уже были заметны первые не очень-то тщательно замаскированные танки.) "Это не разрешается!" — сказал ефрейтор.

Но мы все-таки вышли из машины и подошли к подполковнику, который направился навстречу нам. Он представился как офицер связи чехословацкой народной армии.

— Мы из...

— Я знаю, хлопцы, — подполковник не дал нам кончить.

— Можем ли мы говорить с ними?

— Нет, они уже говорили с секретарем Словацкого областного комитета партии Тяшки*, генералом Кодай и двумя другими. Этого для них достаточно... Они не хотят ни с кем больше говорить. Я не могу вас пустить.

— Но нам нужно с ними говорить! — повторяем мы.

— Нет, это невозможно, я не могу, не сердитесь, пожалуйста, но ведь я солдат, — подполковник, по-видимому, взволнован гораздо больше, чем мы.

— Как долго они еще здесь останутся? — спрашиваем мы.

— Я не знаю, их нельзя понять...

Мы оглядываемся.

— Разве их дело только их дело?

— Я уже нахожусь с ними больше двух с половиной месяцев, — говорит подполковник несчастным голосом, — у нас всех они уже сидят в горле.

— А какие они, не можете ли вы их нам описать поближе?

*Тяшки — реформатор Дубчека.

— Не могу, я ведь солдат!

— Но мы из "Литерарных листов".

— Я знаю, я их читаю, я могу их вам показать, они у меня в машине. Видите ли, — продолжает подполковник, и мы чувствуем, как он борется со своей потребностью выговориться и в то же время не сойти с рельс военной дисциплины, — если бы вы обратились в Министерство обороны...

— А что говорят наши люди, они ругают их?

— Им уже тоже все это надоело.

— Что они едят и кто за это платит?

— Провиант они берут от нас. Они пишут квитанции почешски и по-русски и утверждают, что они когда-нибудь за все это заплатят. Бензин они нам возвращают в натуре.

— Можете ли вы нам еще что-нибудь сказать?

— Я уже вам все сказал, я солдат, не понимаете вы это!

— Мы это понимаем, но если бы могли хотя бы несколько минут поговорить с простыми солдатами.

— Вы можете поговорить, но если вы это сделаете, то вы им причините большие неприятности. Оставьте их в покое, здесь все кишит агентами КГБ.

...От этих его слов нам становится грустно, очень грустно. Они со своими орудиями расположились в горах. На одной горе пасутся овечки с маленькими колокольчиками, на другой — миролюбиво отдыхают танки и им подобные орудия уничтожения. Мы невольно подумали, что случится, если повторится история с советскими солдатами, которые попали во время войны в плен? Что произойдет, если эти молодые мальчики в формах, будто бы вырезанные из популярных журналов мод Первой мировой войны, вернутся домой как подозреваемые и уже "зараженные", и что случится, если они вернутся домой с вопросом на устах, который будет тем более упорным оттого, что его невозможно будет произнести вслух.

— Тогда посоветуйте нам, по крайней мере, где мы можем найти другую часть, — просим мы подполковника.

— Всюду, хлопцы, всюду. Простите, если я с вами так запросто говорю, они находятся всюду на севере от Жилины.



— А что они сами говорят об этом? — смотрим мы по направлению леса.

— Каждый день мы им переводим все, что о них пишут в наших газетах, каждое слово.

— Как они на это реагируют?

— Они чувствуют, что им нужно было бы уйти. И они с большим удовольствием ушли бы домой.

Наш шофер говорит:

— Посмотрите на этого "москвича". Какая у него странная антенна, это наверное СТБ*.

"Москвич" действительно уделяет нам очень много внимания.

В течение некоторого времени мы стояли возле леса, в котором блестят гусеницы танков. На краю дороги сидят на земле темнокожие солдаты и свертывают самокрутки.

Дорога, идущая от шоссе к лесу, объезжена танками и покрыта черноватой глиной. Лес полон мужчин с необычайно большими автоматами. Таких автоматов мы еще не видели. Мы объезжаем лесок, машина "государственной безопасности" едет перед нами и передает что-то в эфир. Для того чтобы мы не могли скрыться, в воздухе над нами не переставая крутится вертолет с большой красной звездой. Один из нас хочет зайти в кустик и в ужасе отскакивает назад: кустик этот — не кустик, а замаскированный бронетранспортер, из которого выглядывает бритая голова и дуло автомата.

Отказ советских войск покинуть территорию нашей республики мы до сих пор считали серьезной, но вежливой игрой. В этот момент мы чувствуем себя человечески бессильными, и мы боремся изо всех сил против чувства ненависти, которое нас охватывает...".

*СТБ — чешское КГБ.

ГЕНЕРАЛ ПРХЛИК

Как стало известно позже, генерал Дзур во время штабных маневров занимался некоторыми арифметическими подсчетами. Если братские страны действительно захотят оказать вооруженную помощь Чехословакии, которой "угрожает" контрреволюция, то, по его мнению, страна будет оккупирована за два с четвертью часа. Бывший инженер и математик ошибся совсем не на много. Оккупация 21 августа 1968 года заняла на 28 минут меньше, чем было подсчитано генералом Дзуром.

В те дни рядом с министром обороны действовал еще один чешский генерал, высказавший вслух о штабных маневрах все, что он знал. А знал он, может быть, даже больше, чем Мартин Дзур. Это был Вацлав Прхлик. Он был еще очень молод, но занимал весьма важный пост. В январе 1968 года Дубчек назначил его руководителем восьмого отдела ЦК КПЧ.

Восьмой отдел осуществлял контроль партии над армией, юстицией и органами государственной безопасности. (До Прхлика этот пост занимал известный старый сталинист Мамула, которого называли мини-Берией. Смирковский в свое время о нем говорил, что у него было больше власти, чем у всего правительства.) Пост Прхлика делал из него генерала, пожалуй, более всех информированного в стране.

И вот, будучи руководителем восьмого отдела ЦК КПЧ, он созывает 15 июля 1968 года пресс-конференцию (за выступление на которой в марте 1971 года был приговорен к трем годам каторжных работ).

Прхлик принадлежал к офицерам, с которыми в те дни я довольно часто встречался как по служебным, так и по личным делам.

Свою карьеру он начал тогда, когда Хрущев выступил с разоблачением сталинских преступлений. И именно в те дни один из организаторов политических процессов 50-х годов Антонин Новотный стал президентом государства.

Прхлик никогда не был профессиональным военным. Его военные знания были очень малы. Когда гитлеровцы

заняли Чехословакию, он сидел на школьной скамье. А когда начались полевые маневры, он, будучи генералом, едва справлялся с командованием батальоном. Но Прхлик с большим упорством работал над собой, ночи проводил над военными учебниками и охотно разрешал учить себя фронтовым офицерам более низких чинов.

В то же время Прхлик был горячим патриотом, и его ненависть к иностранным оккупантам зародилась в нем еще в мальчишеские годы, со времен протектората Чехии и Моравии. Он обладал совершенно непрофессиональным "штатским" мужеством.

Еще задолго до Пражской весны 1968 года Прхлик принадлежал к тем офицерам, которые старались осуществить в армии "социализм с человеческим лицом". Еще будучи капитаном, он привлек мое внимание тем, что, в отличие от других политруков, был лишен всякого самомнения. И, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, политическое воспитание в его части было поставлено лучше, чем в других подразделениях. Во всяком случае, его приход на пост руководителя восьмого отдела ЦК означал куда больше, чем назначение Дзура министром обороны. Причем большинство офицеров приветствовали его назначение.

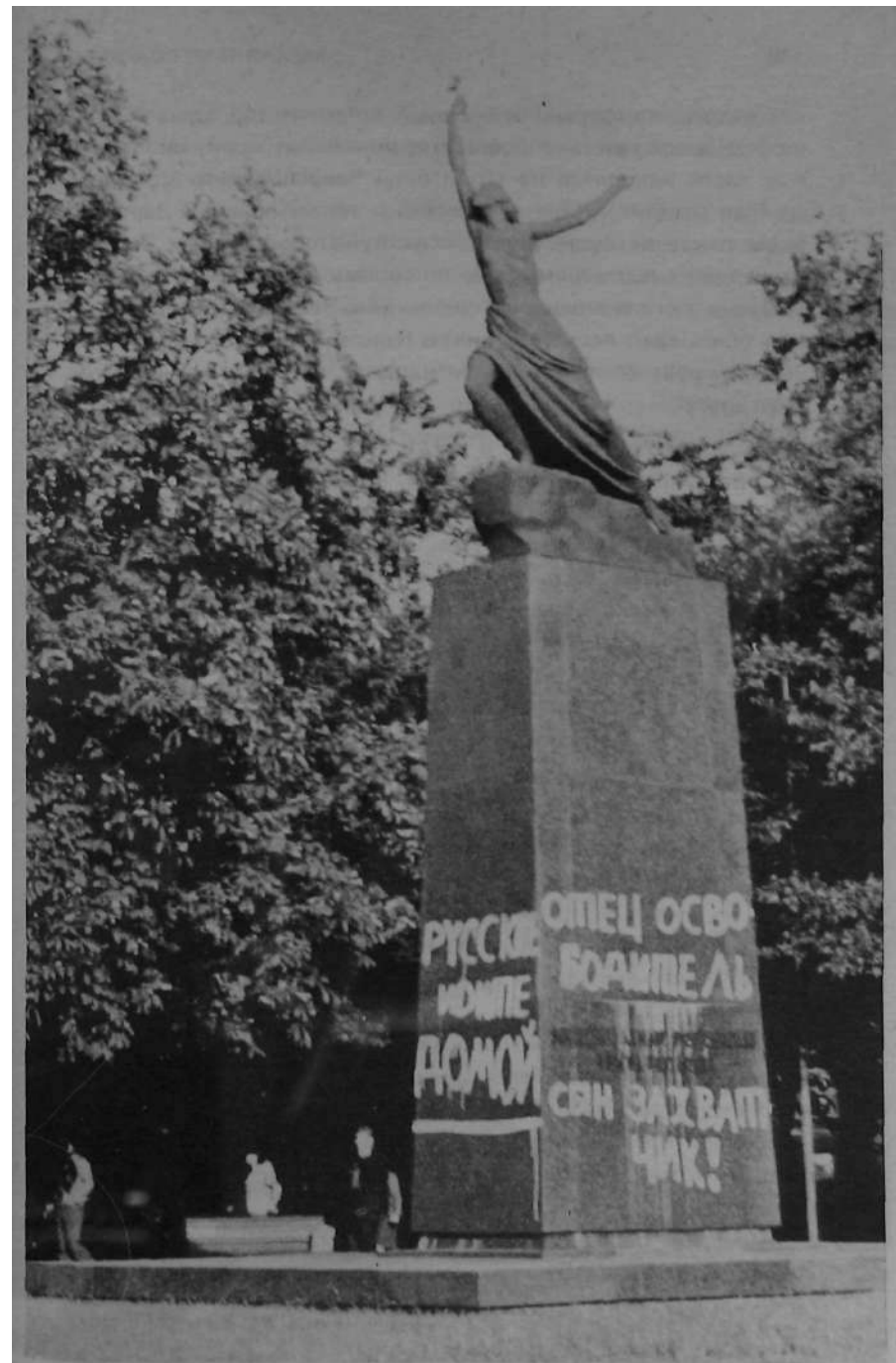
Надо сказать, что пресс-конференция 15 июля 1968 года проходила в очень напряженной атмосфере. Отход иностранных частей, участвовавших в так называемых штабных маневрах, затянулся сверх всяких сроков.

За несколько минут до начала пресс-конференции Прхлик сказал мне, что маршал Якубовский обещал осуществить отход воинских частей с территории Чехословакии между 13 и 16 июля.

"И для этого ему нужно четыре дня? — спросил я с наигранным удивлением. — Ведь дело только в нескольких сотнях солдат. Не так ли нас информировал генерал Дзур?"

Прхлик понимающе улыбнулся,

Я знал, что на нашей территории находятся тысячи советских солдат и сотни советских танков, он, наверно, точно знал, сколько тысяч и сколько сотен.



На пресс-конференции военный комментатор одной большой чешской газеты спросил его, по какому праву иностранные части находятся на территории Чехословакии. Молодой генерал ответил: "Мне неизвестно о таком праве. В Варшавском пакте не существует таких пунктов, которые бы давали одним партнерам право по своему усмотрению вводить военные части в страны их союзников. Введение и глава восьмая обязывают всех участников Варшавского пакта взаимно уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга".

На процессе Прхлика в 1971 году выяснилось, что все его преступление состояло в том, что он цитировал Варшавский пакт — это же сегодня инкриминируют борцам за гражданские права в СССР и тем, кто подписал "Хартию-77" в Чехословакии. Ведь они тоже осмелились цитировать Советскую и Чехословацкую конституции и Соглашение в Хельсинки.

Советский Союз никогда не чувствовал себя связанным международными договорами. И Кремль всякий раз обрушивался на тех, кто требовал от него придерживаться статей им же подписанного Варшавского пакта.

Между тем Прхлик в полном соответствии с духом и буквой Пакта требовал равенства всех партнеров. Руководство Кремля и особенно военные ястребы — Гречко, Епишев, Якубовский, Штеменко — обвиняли Прхлика в том, что он якобы настаивал на изменении Варшавского пакта в направлении, выгодном империалистическим врагам, хотя он лишь настаивал на точном исполнении этого договора. В частности, выражая желание чехословацкого правительства, Прхлик подчеркивал необходимость ротации командования войсками стран Варшавского пакта. На этом же в то время настаивали правительства Румынии и Венгрии в неопубликованных нотах, попавших позже в руки западных корреспондентов.

Выступая перед журналистами, Прхлик говорил без упоминания имен о разных точках зрения на этот вопрос у стран Варшавского пакта.

Пресс-конференция Прхлика разъярила Москву. Кремль ультимативно потребовал снять его с поста начальника восьмого отдела ЦК КПЧ.

Руководство Дубчека выполнило это требование, однако вместе со снятием Прхлика был распущен весь восьмой отдел ЦК, и таким образом фактически был ликвидирован инструмент, с помощью которого Москва могла контролировать чехословацкую армию и юстицию.

Генерал Прхлик, как и президент народного фронта доктор Франтишек Кригель, был первым из окружения Дубчека, с кем рассчиталось кремлевское руководство после 21 августа 1968 года. Он был исключен из партии, разжалован и работал вначале простым чернорабочим, а затем мелким чиновником, пока в марте 1971 года не был предан суду за свою реформаторскую деятельность в период Пражской весны.

Но тогда, на пресс-конференции, Прхлик честно и открыто дал объяснение создавшейся ситуации, которого давно уже ждали от министра обороны Мартина Дзура. Однако и тогда еще оба лица двуликого Януса оставались скрытыми, по крайней мере, официально. Вскоре мне представилась возможность в этом убедиться.

Через месяц после пресс-конференции — 14 августа 1968 года (я подчеркнул этот день красным карандашом в своей записной книжке) — мне позвонил по телефону и пригласил к себе начальник главного политического управления армии генерал Франтишек Беджих. Он был другом Дубчека, и я знал его еще со времен войны. Мы вместе учились в чехословацкой офицерской школе в 1942 году, в Бузулуке, на южном берегу Урала, а позже, когда он стал командиром минометной части, я был его заместителем.

Сейчас, как я понял, речь шла о публикации некоего документа, который должен был подвергнуться критике выступление Прхлика на пресс-конференции.

Беджих мне передал рукопись, автором которой был генерал Хлад, бывший интендант Чехословацкой бригады в СССР во время войны. После войны он был городским комендантом Праги и 21 августа 1968 года приветствовал как осво-

бодителей от контрреволюции советские танки, вошедшие в Прагу.

По желанию генерала Дзура, я должен был эту рукопись отредактировать и передать для опубликования в прессу. Кроме того, Беджих передал мне через письменный стол несколько страниц, напечатанных на машинке. Я быстро пробежал их глазами. Они были озаглавлены: "Точка зрения Военного совета министра национальной обороны". Я наскоро прочел эти страницы.

"Когда нужно публиковать статью Хлада и в какой газете?" — спросил я Беджиха. "Самое позднее в следующий четверг, в "Руде Право", — ответил он. Я проверил даты по календарю на моем письменном столе — день 14 августа был средой, 15 августа — четверг. В пятницу 16 августа "Точка зрения Военного совета министра национальной обороны генерала Мартина Дзура" появилась в "Руде Право".

Я уже писал, что в начале второй половины августа выехал в Восточную Словакию, на Карпаты, где находился в военных пограничных частях, и оттуда послал отредактированную статью Хлада курьером на самолете в Прагу.

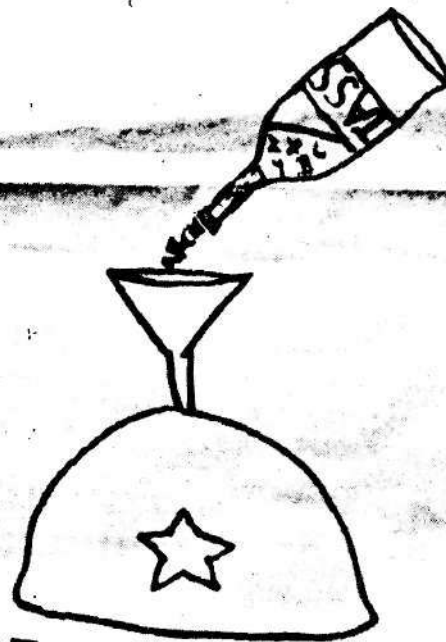
Во вторник 20 августа Беджих мне по телефону подтвердил, что генерал Дзур прочел статью и согласился с ней. "Есть ли что-нибудь новое в Праге?" — спросил я. "Нет, ничего особенного, до следующего понедельника", — быстро свернул он разговор.

Точно спустя восемь часов советские транспортные самолеты с танками начали приземляться в пражском аэропорту Рузине. Статья Хлада о пресс-конференции Прхлика уже не была актуальной 22 августа — Прага и редакция "Руде Право" были оккупированы советскими войсками.

Но "Точка зрения Военного совета чехословацкого министра обороны генерала Дзура", как я сказал, успела появиться в печати. Это был своего рода исторический документ и еще более — доказательство алиби Дзура и президента Людвига Свободы.

Статья генерала Хлада была полемической и не опасной для Прхлика, "Точка зрения" была приказом военному прокурору возбудить уголовное дело против Вацлава Прхлика.

DDT je proti švábům,
celý svět je proti rusům.



ВОТ ЭТО ТВОЙ ЧМ СОЛДАТ

21 АВГУСТА

Когда советские войска вступили в Прагу, их первой задачей было схватить и арестовать ведущих деятелей Пражской весны. Судьба их (не считая генерала Людвиг Свободы) вначале была неизвестной. И только спустя несколько дней чехословацкая и международная общественность узнала о переговорах между ними, точнее между чехословацкой партийной и правительственной делегацией и руководством Кремля в Москве с 23 по 26 августа 1968 года.

Эти переговоры были увертюрой к так называемой нормализации. О первой фазе этой нормализации 27 августа сообщило ставшее уже легальным пражское радио (которое до 26 августа, разъезжая по стране, действовало нелегально).

Радио передавало речи Смирковского и Дубчека, и, как стало ясно из этих речей, представителей Чехословакии (за исключением Свободы) на московских переговорах заставили сотрудничать.

По официальной советской версии оставалось неясным, как очутились в Москве на переговорах лидеры Пражской весны. (Это и по сей день является тайной, на которую наложено железное цензорское вето.) Все сказанное не относится к генералу Людвигу Свободе, который летел в Москву только в сопровождении своих самых близких сотрудников и почетной охраны, как будто бы по собственному желанию. И в официальном сообщении о поездке Свободы в Москву были приведены имена только двух членов правительства, которые сопровождали Свободу, — заместитель чехословацкого премьер-министра доктор Густав Гусак и чехословацкий министр обороны генерал Мартин Дзур.

С генералом Людвигом Свободой в Москве обращались совершенно иначе, чем с руководителями Пражской весны.

Я думаю, что придет время и объективное, свободное исследование историка объяснит, какой ценой заслужил генерал Свобода это особое обращение с ним со стороны "советских товарищей".

О том, как началось путешествие Дубчека и его соратников из Праги в Москву 21 августа, стало известно из показаний

двух офицеров чехословацкой службы безопасности. Они принимали участие в аресте Дубчека и его ближайших сотрудников. В это же время Людвиг Свобода на своей машине с президентским флажком свободно продвигался, выехав из своей резиденции в Пражском граде Градчанах по направлению к зданию Советского посольства в Праге, а затем к зданию ЦК КПЧ на правом берегу Молдовы — при этом всюду, где бы он ни появлялся, его свободно пропускали советские солдаты.

Обстоятельства ареста Дубчека впервые стали известны из анонимного свидетельства, опубликованного в журнале социалистической оппозиции "Листы" (№ 3, 1972 год), выходящем в Риме. Я могу дополнить это свидетельство своими заметками, которые я сделал в своей записной книжке в ночь на 22 августа и которые полностью совпадают с тем, что мне рассказал один из двух офицеров службы безопасности сразу после ареста Дубчека.

АРЕСТ ДУБЧЕКА

Это было ранним утром 22 августа 1968 года. Лейтенант полиции Прохаска — так я хочу его здесь назвать — пришел ко мне в мою пражскую квартиру, которая находилась всего в нескольких шагах от здания ЦК КПЧ. Мы были хорошо знакомы, потому что канцелярию Прохаски отделяло всего несколько домов от моей, и, как офицер по делам печати министра обороны, я часто встречался с ним. Второй офицер полиции — я назову его Новаком — был тем, кто написал в "Листы", и его я не знал. Ниже я привожу рассказ обоих офицеров полиции, я цитирую запись на пленке, которую сделал, мои личные заметки, а также публикацию, сделанную в "Листах".

Из показаний этих двух офицеров известно, что рано утром 21 августа 1968 года в полицейской комендатуре Пражского округа была объявлена боевая тревога (так же, как я уже писал, она была объявлена в армии). Редакция газеты "Обрана

Лиду" получила уже 20 августа после обеда письменное указание опубликовать полный текст приказа об объявлении тревоги в утреннем выпуске 21 августа. Приказ подписал министр обороны Мартин Дзур именем президента генерала Людвига Свободы.

"В моей канцелярии, — рассказал Новак, — я узнал, что в здании комендатуры находится группа молодых сотрудников чехословацкой полиции. Это были товарищи Беран, Папачек — эти и все остальные имена не изменены. Еще в июне они создали комитет молодых сотрудников полиции, которые полностью поддерживали министра внутренних дел Йозефа Павела. Генерал Йозеф Павел сразу же после вступления войск Варшавского пакта в Чехословакию был снят со своего поста*.

Чуть позже прошел слух, что в здании комендатуры уже с самого утра находится доктор Цисарж, один из ближайших сотрудников Дубчека в Центральном Комитете партии и с марта 1968 года кандидат на пост президента республики. Это было в среду, а в пятницу нам сообщили, что товарищ Цисарж отвезен в неизвестное место — якобы он признался своей советской охране, что он вместе с товарищем Смирковским был намерен сознательно "заострить" курс пражского правительства и если бы советские войска вступили на два дня позже, то они свой план успели бы осуществить. В четверг это "известие" было украшено слухами о том, что товарищ Цисарж вместе с товарищем Смирковским обратились к правительству ФРГ с просьбой послать немецкие воинские соединения в Чехословакию.

21 августа около 9 часов утра мы пытались выяснить новости с помощью телевизора, который находился возле кабинета коменданта пражской полиции полковника Мольнара. (Позже за заслуги при подавлении дубчеховских "контрреволюционеров" ему был присвоен чин генерала.) Вдруг к нам в комнату вошел товарищ Бродский, адъютант полковника Мольнара, и сказал, что товарищ Мольнар приглашает нас к себе. Поскольку, как выяснилось, коменданту

*Он умер в полном забвении летом 1973 года



полиции требовалось 12 человек, к нему в кабинет были приведены и другие сотрудники, которые в это время случайно находились в коридоре.

Таким образом, в канцелярии Мольнара собрались: Гофман старший, Пероутка, Дубский, Шимоничек, Штамберский. Балабан, Клика, Циммерханзл, Цасарж, Станек, Лудек и Гавель. (Один из них был мой знакомый Прохаска). Товарищ Мольнар показал на трех сотрудников советских органов госбезопасности, одетых в штатское, которые находились в комнате. Конечно, он нам их не представил. При этом он сказал примерно следующее: "Товарищи, вы пойдете вместе с советскими работниками к Центральному Комитету партии, где арестуете товарищей Дубчека, Смрковского, Кригелн и Павела, и приведете их в комендатуру пражской полиции, здесь они будут в безопасности". Один из нас спросил, нужно ли взять револьверы. Товарищ Мольнар сказал, что мы можем это сделать. По дороге к машинам Гавель и Станек исчезли. Всего к зданию ЦК направилось пять машин, три наших и две советских "Волги", в которых сидели советские офицеры. Сначала мы поехали к советскому посольству, где мы ждали примерно около получаса. Из посольства вышел пожилой мужчина в штатском и в очках и сел в советскую машину. Как выяснилось позже, он был руководителем всей операции. Во вторую советскую машину сели полковник и капитан (нам бросилось в глаза, что капитан сильно косил), позже мы поняли, что он переводчик. Машины поехали к зданию Центрального Комитета. Как только мы туда приехали, мужчина в очках принял рапорт советского майора, вооруженного автоматом и встретившего нас у входа в здание ЦК КПЧ.

Как выяснилось из их разговора, капитан был комендантом особого отдела, получившего специальное задание занять здание ЦК партии. Мы вошли в ЦК, и нас повели на второй этаж, в канцелярию № 70. Там мужчина в очках нас спросил, знаем ли мы, где расположены кабинеты Дубчека, Кригеля, Павела и Смрковского. Никто из нас этого не знал. Тогда он спросил, кто из нас знает этих товарищей лично. Мы ответили, что знаем их только из передач по телевидению.



Тогда он приказал отвести Гофмана старшего, Пероутку, Цасаржа, Шимоничка и Штамберского в соседнюю комнату. В канцелярии № 70 остались Клика, Лукаш, Балабан и Циммерханзл. Мужчина в очках сказал: "У кого из вас хватит храбрости, кто подойдет к Дубчеку и скажет: "Именем революционного правительства, руководимого товарищем Индрой, мы вас арестовываем!"?"

Когда никто не ответил, он обратился с той же просьбой к каждому из четырех в отдельности. Но все отказались. Тогда он вышел вместе с Гофманом старшим в отдельную комнату. Там Гофман согласился взять на себя выполнение этого задания, и тут же на месте он начал учить наизусть формулу ареста, то есть фразу, которую ему предстоит сказать Дубчеку. После этого шесть полицейских вышли из комнаты, и только четверо остались как резерв. Их там продержали до четырех часов дня (чтобы лишить их возможности разгласить то, что происходило в здании ЦК). А шестеро направились в канцелярию товарища Цисаржа. Туда также привели товарища Дубчека, Сморковского, Кригеля, которых тем временем нашли. Товарища Павела так и не смогли разыскать, хотя советские офицеры искали особенно его.

Когда товарищ Сморковский вошел в канцелярию, он потребовал от Шимоничка принести ему газеты. Он имел в виду те специальные издания пражских газет, которые уже не могли печататься легально.

Между тем оккупационные войска заняли все редакции и типографии пражских центральных газет, кроме Дома печати чехословацкой армии, в котором работали 26 военных редакций.

Шимоничек принес Сморковскому газеты, которые он просил, за это Шимоничек получил строгий выговор от советского полковника, который тотчас же записал его имя.

Чешские полицейские сварили для арестованных кофе и дали им легкую закуску — хлеб с ветчиной и пиво. Дубчек от закуски отказался.

Когда советские солдаты привели Сморковского и Кригеля в канцелярию Цисаржа, им предложили поднять руки, после чего их тщательно обыскали, проверяя нет ли у них ору-



СОБИРАЙТЕ УРОЖАЙ НА СВОИХ ПОЛЯХ
А НЕ УРОЖАЙ КРОВИ В НАШИХ ГОРОДАХ



жая. Хотели обыскать и Дубчека, но он укоризненно сказал им: "Товарищи..." Тогда советский полковник приказал оставить его.

После обеда товарищи Смирковский, Дубчек и Кригелъ были выведены из здания, а в то же самое время чешских полицейских все еще продолжали держать в соседней комнате.

Так выглядел пролог к поездке чехословацкой партийной и правительственной делегации в Москву на переговоры с братскими партиями. Не было лишь в составе этой делегации одного члена узкого руководства — президента республики генерала Людвига Свободы.

Как он вел себя в этот решающий день? Опираясь на исторические документы и показания очевидцев, можно уже сейчас разбить легенду, которая делает из Людвига Свободы (по меньшей мере до полной общественной и политической ликвидации Дубчека, Смирковского и других в мае 1969 года) ангела-спасителя реформаторов Пражской весны. Так, говорят, что генерал Свобода сказал Брежневу, что если моментально не привезут Дубчека, Смирковского и Кригеля в Москву на переговоры, то он, Свобода, застрелится. "Я не Аха", — так будто бы Свобода сказал. Но разве солдат и главнокомандующий чехословацкой армией генерал Свобода действительно держал себя иначе, чем доктор Эмиль Аха, юрист, чехословацкий президент, преемник доктора Бенеша в октябре 1938 года, который прибыл 14 марта 1939 года в Рейхсканцелярию в Берлин, для того чтобы вопреки чехословацкой конституции лично просить Гитлера взять на себя протекторат над Чехией и Моравией?

Из записи на пленке, из заметок, сделанных в канцелярии президента Свободы 21—22 августа 1968 года, а также из дословной записи телефонных разговоров, которые президент Свобода вел с депутатами чехословацкого парламента, заседавшего в Праге на площади Горького, из всего этого было ясно, что Свобода летел в Москву вместе с Гусаком 23 августа, не будучи арестованным.

Возможно, об этой поездке было решено уже ночью 21 августа 1968 года, после того как советский посол в Праге

Червоненко посетил президента Свободу в Пражском граде — Градчанах. Было это за несколько часов, а может быть, даже минут перед тем, как советские транспортные самолеты с танками и оружием приземлились в пражском гражданском аэропорту Рузине.

Доказано документами, что уже тогда генерал Свобода отказался от Дубчека и его самых близких сотрудников, к которым и сам он причислял себя при каждом удобном случае во время событий Пражской весны 1968 года. Иначе говоря, он отказался от тех, кто в марте 1968 года сделал его президентом республики.

Позже без попытки выразить хоть какой-либо протест генерал Свобода согласился с исключением из партии Дубчека, Смирковского, Кригеля и других ведущих реформаторов Пражской весны и таким образом сделал их "вольной дичью" для чехословацкой прессы и радио.

Возможно, потому вначале в среде чехословацкой общности родились легенды о Людвиге Свободе, что его поведение явилось для всех полной неожиданностью. До этого Свобода никогда не оставлял в беде своих бывших сотрудников и фронтовых друзей, даже бывших чехословацких легионеров, воевавших рядом с ним в годы Первой мировой войны, он, став министром обороны, вернул на свои посты. Так было с генералом армии Новаком, комендантом округа Клапалек, генералом Шимоном Дргачом и другими. Но, оказавшись на посту президента государства и по меньшей мере официально самым высшим руководителем в стране, он, по-видимому, потерял понятие о товариществе и дружбе. Возможно, что сыну мелкого крестьянина из чешско-моравских лесов сознание, что он стал самым высоким чиновником в государстве и что он сидит в замке старых чешских королей, так "ударило в голову", что он перестал быть самим собой.

Бывший заместитель председателя Совета Министров и выдающийся экономист Чехословакии (после 21 августа профессор Базельского университета в Швейцарии) Ота Шик сравнивает в одной из своих статей ("Давар", Тель-

Авив, 4 мая 1972 года) генерала Людвиг Свободу с генералом Паулем фон Гинденбургом, который пал до того, что стал президентом при Гитлере. Профессор Шик пишет: "Свобода — это глупый, ничего не значащий генерал. Он не поехал в Москву, чтобы спасти Дубчека, наоборот, он исполнял постыдное задание. Он кричал на Дубчека и на Кригеля (*замечание авт.*), настаивая на том, чтобы они подписали все, что требуют русские". Это тяжелое обвинение выдвинуто ученым с мировым именем, опытным политиком, который принадлежал к наиболее информированным членам чехословацкого правительства и был самым последовательным бойцом Пражской весны. И из других источников, которые пока что нельзя назвать, сообщают, что Свобода во время пленума ЦК КПЧ в апреле 1969 года угрожал Дубчеку, что против него начнет действовать полиция, если он, Дубчек, добровольно не уйдет в отставку со своего поста секретаря ЦК партии, Дубчек подал в отставку, потому что он все равно уже ничем не мог помочь ни партии, ни стране, ни себе самому, если бы даже и попытался бороться за свое место. Те, кто остался на своих местах, пытались не более чем доказать свое алиби перед лицом советской приказной нормализации. Дубчек отказался от "проведения" самокритики, которая все равно только бы на короткое время отложила его исключение из партии.

В трагических условиях террора и подавления Дубчек остался самим собой. Западные газеты приводят два сообщения о том, будто бы он принял участие в комедии выборов в ноябре 1971 года, которые проходили в Чехословакии через три года после оккупации Чехословакии армиями стран Варшавского пакта. На этих выборах существовал единственный и официальный список кандидатов как во времена чехословацких "рабочих" президентов Готвальда, Запотоцкого, Новотного. Так вот, в этих иностранных сообщениях говорилось, что Дубчек также голосовал за этот список, но эти сообщения выдуманы, потому что Александр Дубчек категорически отказался принять участие в комедии выборов. Пробовали даже — правда, напрасно, — побудить его проголосовать неофициально (чтобы не пришлось ему это делать на

людях). Агитаторы выборов сделали вид, что они не понимают, почему Дубчек не идет голосовать и принесли к нему избирательную урну на квартиру, как будто бы он был болен и не мог сам пойти на избирательный участок.

Но ни Дубчек, ни его жена не дали себя уговорить. Это невыдуманный эпизод. Доктор Густав Гусак, преемник Дубчека на посту секретаря ЦК КПЧ, подтвердил этот случай в своем докладе на заседании Центрального Комитета партии, которое состоялось после выборов. Гусак назвал полными именами правых уклонистов, отказавшихся принять участие в выборах, — Сморковский, доктор Кригель, Дубчек.

В ДНИ ОККУПАЦИИ

Как же выглядела сама Прага после вступления войск Варшавского пакта?

Рано утром 22 августа, когда на улицах еще было темно, я прибыл на чехословацкой военной машине из Карпат в Прагу. Я ехал по мертвому городу мимо пражского главного вокзала, через площади Вацлава, по Дейвице, мимо здания Министерства обороны. Тишина душной августовской ночи то и дело прерывалась частыми пулеметными выстрелами. Во время поездки из Карпат через Словакию, Моравию и Богемию я ни на минуту не выключал свой приемник, который настроил на Прагу.

В среду утром, ровно в 8 часов 12 минут (я точно записал это время в своем дневнике), "старый хозяин" выступил с речью по Пражскому радио. Он сказал: "За последние часы в нашей стране создалось тяжелое положение. В настоящее время я не могу сказать ничего большего для объяснения создавшейся ситуации. Сознывая свою гражданскую ответственность и в интересах республики, вы не должны допустить никаких необдуманных действий".

Какие необдуманные действия не должны быть допущены? Кто именно не должен был действовать необдуманно —

население? Армия? Полиция? На эти вопросы Свобода не дает ответа.

За несколько минут до девяти утра радио вообще смолкает.

Однако когда я услышал голос "старого хозяина", я облегченно вздохнул — если он может свободно выступать у микрофона, то, очевидно, положение нашей республики не столь уж безнадежно. Но теперь, когда радио молчит, снова во мне просыпаются неуверенность, сомнения и страх.

Я переключил приемник на волны тайного военного передатчика Чехословацкой народной армии и вскоре после девяти часов настроился на Дом радио, в Праге, на Виноградской улице, где жена работала секретарем отдела по контактам с иностранными журналистами, аккредитованными в Праге, а дочь Татьяна комментатором иностранной редакции.

Я уже знал, что в этом здании находятся солдаты подразделений стран Варшавского пакта — и теперь оттуда доносились хотя и не очень громко, но все-таки достаточно отчетливо, перестрелка автоматов, пулеметные очереди и даже скрежет гусениц танков.

И сквозь все это прорывались звуки чехословацкого народного гимна — раз-два..., три раза, без перерыва.

Только на рассвете 22 августа я узнал уже из нелегально выходящих газет, как прошла среда в Праге — первый день оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского пакта.

Газеты я читал у себя в редакции "Обрана Лиду", которая, к моему удивлению, не была оккупирована и даже не находилась под охраной вошедших в Прагу иностранных подразделений. От моих товарищей по работе я довольно подробно узнал обо всем, что случилось. Они, в частности, подтвердили то, о чем писал один из моих знакомых корреспондентов уже нелегально вышедшей газеты "Свободное слово" (орган Чехословацкой социалистической партии, которую до 1936 года возглавлял доктор Бенеш).

Приведу теперь дословно некоторые отрывки из корреспонденции, опубликованной в газете "Свободное слово".



"На площади Вацлава ранним августовским утром собрались молодые люди. Здесь же, на площади Вацлава, мне рассказали, что перед зданием Центрального Комитета партии, на правом берегу Молдовы, стреляют, и в качестве корпуса деликти (т.е. неопровержимого доказательства — *Прим. автора*) молодые люди держали в руках знамя, обрызганное кровью.

Мы тотчас же поехали в больницу Франтишка, на берегу Молдовы (я живу в нескольких шагах от больницы. — *Прим. автора*). В амбулаторном отделении лежал молодой человек с простреленной головой. По словам врача, его положение было почти безнадежным. Другой раненый, как это было видно из записей врача, лежал с простреленным плечом, он был ранен советскими солдатами в 5 ч. 10 м. утра.

Третий случай был самый грустный — один из тех, в кого стреляли перед зданием Центрального Комитета партии, умер...

Последние известия: перед зданием Радио толпы людей с чехословацкими флагами, советские танки пытаются пробиться к зданию. После многочисленных требований отступить, обращенных к командирам танковой части, один из офицеров, под давлением людей, окруживших здание Радио, дает команду к отступлению, но жителям Праги эта тактика уже знакома со времен Пражского восстания 1945 года. (Тогда пражские повстанцы заняли здание Радио на Виноградской улице, которая перед Второй мировой войной называлась улицей Фоша, и, забаррикадовавшись в нем, защищали его против немецких танков и моторизованной пехоты. И так же, как в 1945 году было с немецкими частями, отступление советских танков означало лишь, что советские оккупационные войска попытаются обойти улицу, заполненную людьми, с другой стороны. — *Прим. автора*). Поэтому были построены баррикады из машин и на улицах, пересекающих Виноградскую. Опять же, как в мае 1945-го. Я стоял на одной из пересекающих улиц и видел, как советский капитан стрелял из противотанкового орудия по фасадам старых домов и по мостовой. Я находился в нескольких шагах от солдат, и, должен признаться, что во мне, пережив-

шем немецкую оккупацию, все это пробудило довольно горькие чувства.

Я видел, как старые люди убегали и падали прямо на мостовой. Я пристально смотрел на советских солдат. Было впечатление, что они сильно нервничают — нельзя ведь забывать, что многие жители Праги, особенно молодые люди, говорят по-русски. И то, что они кричали в глаза солдатам, держащим оружие в руках, вряд ли тем было приятно слышать".

Для того чтобы лучше себе представить обстановку тех дней, надо вспомнить, что оккупанты в течение почти недели так и не смогли сформировать коллаборационистского правительства в Праге, и, несмотря на то, что все органы печати, кроме военных редакций, о чем я скажу ниже, были парализованы, Пражское радио работало, продолжали нелегально выходить многие газеты, и для каждого непредвзятого свидетеля, находившегося в те дни в Праге, не оставалось в секрете, что оккупантам физически не удалось сломить реформаторский, дубчековский дух, охвативший широкие слои населения.

Большинство жителей республики придерживались в своих поступках и действиях знаменитых десяти заповедей Пражской весны, которые из рук в руки передавались в те дни.

Этот маленький листок с десятью заповедями появился в Праге уже 21 августа, очень скоро после того, как советские танки ворвались в Чехословакию. Что же это за заповеди? Вот их текст:

— никогда не будь предателем идей демократии, свободы, суверенитета и гуманного социализма;

— не признавай в качестве руководителей государства никого, кроме генерала Людвига Свободы как президента Чехословакии и Александра Дубчека как секретаря Центрального Комитета партии;

— не принимай ни от кого другого советов;

— не делай ничего такого, что может угрожать суверенитету твоей Родины;

— никогда не забывай, как действовали эти лицемерные органы власти;

— позаботься о том, чтобы в будущем ты был всегда хорошо информирован о всех переговорах, касающихся твоей страны, независимо от того, где и в какое время ведутся эти переговоры;

— никого не считай своим другом и союзником, кроме того, кто своими делами, а не словами убедит тебя, что он твой друг и союзник;

— сохраняй перед лицом каждого акта насилия спокойствие, уверенность и бодрость духа;

— в это тяжелое время останься человеком, исполненным чувства собственного достоинства даже тогда, когда другие тебе отказывают в праве на это достоинство;

— не забывай никогда Белой Горы,* не забывай 15 марта 1939 года, день вступления немецких войск в Чехословакию, и никогда — 21 августа 1968 года.

Итак народ старался сопротивляться интервенции армий стран Варшавского пакта. С голыми руками чешские мужчины, женщины и дети шли на советские танки и в некоторых случаях даже поджигали их бутылками с бензином.

Но армия молчала, и через несколько дней в оккупированной Чехословакии действительно воцарилось сравнительное спокойствие. Армия и полиция дисциплинированно исполняли приказы президента и главнокомандующего чехословацкими войсками Людвига Свободы. И пребывали в бездействии в казармах. Авторитет "старого хозяина" в народе был еще очень высок.

Из материалов нелегальных чехословацких газет и передач нелегального радио все еще вырисовывался его облик горячего чешского патриота-демократа и бесстрашного полководца.

Центральная газета чехословацкого Союза молодежи (чехословацкого комсомола) "Млада Фронта" даже привела беседу одной не названной по имени женщины со "старым

*Белая Гора расположена неподалеку от Праги, где в 1620 году произошло восстание населения Праги против Габсбургов, потопленное в крови. После этого Чехословакия стала частью Австрийской империи.

хозяином" за день до его отъезда из Праги в Москву 23 августа 1968 года.

Из этой публикации видно, насколько его собеседница, выражающая настроение миллионов граждан Чехословакии, была уверена в нем. На страницах газеты "Млада Фронта" она уверенно высказала мнение, что Свобода — мужественный, кристально честный человек. Он — последовательный сторонник Дубчека и едет в Москву по собственной воле. Она уверена, что он никогда не уступит давлению и сделает все от него зависящее, чтобы отстоять идеалы Пражской весны.

Продолжение в следующем номере.

Перевела с немецкого д-р Сара Винер.

Фото и рисунки взяты из книги; Franz GOESS, Manfred R. BEER, "Prager Anschlage". (Издательство Ульштейн, 1968)

Борис ХАЗА НОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля", "Страх", "Глухой, неведомой тайгою" и другие) .

Выходит в свет в мае 1977 года.

ПОЧЕМУ МААРАХ?

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ЧЕТЫРЕ ОТВЕТА

Нас упрекают: эстаблишмент переживает упадок, высокопоставленные чиновники погрязли в коррупции, правительство обанкротилось — пришло время его сменить.

Мы вовсе не скрываем, что некоторые деятели были причастны к нарушениям законов государства. Однако правительство и Гистадрут не скрывали, а, напротив, расследовали и передали суду виновных в воровстве, взяточничестве и использовании служебного положения для личного обогащения.

Известно, что среди нарушителей закона есть много и предпринимателей, обогатившихся за счет "черного" капитала.

С коррупцией необходимо бороться, строго наказывая виновных, установив усиленный контроль "снизу доверху", включая самые ответственные посты. Обвинения в адрес правительства Рабина и руководства Гистадрута необъективны и в основном несостоятельны. Наши оппоненты "справа" лишь спекулируют декларациями о "моральной чистоте" и "борьбе с коррупцией".

Уместно задать им вопрос, повинны ли движения Гуш Эмуним и Неделимый Израиль в ущербе на миллионы долларов, причиненном государству господином Йегошуй Бен Ционом, их бывшим казначеем и финансистом, ныне отбывающим свой срок в камере тюрьмы в Рамле? Свидетельствуют ли махинации с фондом Тель Хай о "высокой морали" соратников господина Бегина?

Представители Ликуда утверждают: вы повинны в пяти войнах, которые пришлось вести Израилю.

Да, мы принимаем полную ответственность за все войны Израиля. Ведь это мы, а не кто иной, начали войну Судного дня, и весь цивилизованный мир утверждает это, не так ли?

Да, мы "виновны" в том, что вели Войну на Истощение, особенно, потому что не допустили террористов на территорию страны и самоотверженно боролись с международным террором.

Мы с гордостью принимаем на себя "вину" за Шестидневную войну, за объединение Иерусалима, войну, итогом которой явился рост авторитета Израиля во всем мире, укрепление его безопасности, подъем национальной гордости и национальных чувств евреев диаспоры.

Да, мы "виновны" в Синайской кампании, обеспечившей, как известно, доступ к Эйлату и на протяжении 10 лет сохранившей спокойствие на египетской границе.

Наконец, мы "виновны" в пятой и первой по счету войне Израиля, Войне за Независимость.

Неужели господин Бегин был прав, когда сопротивлялся решению ООН о разделе Эрец Исраэль, выступая тем самым против создания независимого и суверенного Еврейского Государства?

Демократическое Движение за перемены (ДАШ) заявляет: внутренний фронт — решающий* Необходимо навести порядок дома. Внешнеполитические проблемы будут в любом случае решены американцами. В этом смысле различия между партиями практически не существует.

Мы утверждаем, что проблема безопасности и мира является центральной. Никакой "порядок дома" — несмотря на его несомненную важность — не способен решить основную проблему: мир или война? Американцы не могут и не станут решать за нас. Нам не выиграть времени и не добиться от них передышки для того, чтобы наводить порядок дома. Жизненно важная проблема — проблема мира и безопасности — должна быть разрешена в двух направлениях, тесно переплетающихся между собой:

1) Усиление нашей военной мощи, где главным фактором является укрепление дружественных взаимоотношений с США. Благодаря активности нашей политической деятельности были достигнуты соглашения о разьединении сил и промежуточное соглашение с Египтом, позволившие после войны Судного дня увеличить военный потенциал ЦАХАЛА в невиданных прежде масштабах.

2) Наша позиция на международной арене основывается на укреплении связей с США, странами Общего Рынка, Японией и др., которые будут определяться нашей истинной готовностью к миру.

В противоположность этому бескомпромиссная платформа Ликуда грозит разрывом наших отношений с Америкой и дружественными европейскими странами прежде, чем мы сможем приступить к мирным переговорам с арабами.

Нам говорят: Правительство не добилося никаких успехов в области благосостояния, сокращения общественного неравенства, просвещения и жилищного строительства.

Не вступая в словесную полемику с нашими оппонентами, приведем статистические данные, отражающие объективную картину и красноречиво свидетельствующие о наших достижениях.

1. Благосостояние и сокращение общественного неравенства.

Основные усилия были направлены на увеличение благосостояния нуждающегося населения, а тем самым и на сокращение имущественного неравенства. Несмотря на общее замедление темпов роста уровня жизни, составившего 3,9% ежегодно, уровень жизни среди неимущих групп населения заметно возрос.

2. Пенсии по старости: 1972 г. — 249 лир. 1976 г. — 1,054 лиры. Эта сумма составляла в 1972 году 29% от средней заработной платы, а в 1976 году — уже 43%.

3. Ежемесячное пособие семье с четырьмя детьми: 1972 г. — 95 лир. 1976 г. — 729 лир. Это составляло в 1972 году 11% от средней заработной платы, а уже в 1976 году — 30%. Дополнительно в Израиле получавшим как пенсию и пособия, так и заработную плату выплачивалась надбавка на дороговизну — в отличие от других стран с инфляционной экономикой (например, Англии), где такие выплаты, как правило, не производились или производились частично (менее 50%).

4. Полная занятость. Несмотря на экономические трудности, характерные для всех стран Западной Европы и США, в Израиле удалось сохранить полную занятость населения. В отличие от США, где безработица достигает 8,8%, от Канады — 6,9%, Германии — 5,9%, Англии — 5,6%, процент безработных в Израиле лишь 3,5 и составляет 47 000 человек.

5. Просвещение: Учащиеся 9—12 классов составляли а 1961 году 35% от общего числа подростков в возрасте 14 лет и старше, а в 1975 году — 45%. Законченное среднее и высшее образование в 1961 году получило 45%, а в 1975 — 63% молодежи.

6. Жилищное строительство: за 1970-76 гг. строительство квартир для olim возросло на 93 000. Строительство квартир для жителей районов бедноты — на 80 000. Если в 1960 году семьи, где в одной комнате жило больше трех человек, составляли 21%, то в 1975 году их осталось лишь 4%.

ОБРАЩЕНИЕ ЙОСЕФА ТЕКОА К ОЛИМ ИЗ СССР



Я обращаюсь к вам, моим старым знакомым и друзьям, которых знаю уже много лет, с которыми встречался в Москве и Одессе, Риге и Тбилиси, при самых разных, порой неожиданных, порой опасных обстоятельствах.

Ваша судьба всегда беспокоила и волновала меня, и за вас, часть нашего великого народа, я вел борьбу, представляя Израиль в Советском Союзе и Организации Объединенных Наций. Когда я вернулся в Израиль, мы встретились снова, но уже дома, на родине» тепло и по-дружески. Я рад, что наша связь никогда не прерывалась, и был польщен тем, что новые репатрианты разных политических убеждений предложили мне возглавить Объединение Олим из Советского Союза. Но в то время я уже занял пост президента Университета им-Бен-Гуриона и не мог посвятить себя этой ответственной работе.

Теперь я избран кандидатом в члены Кнессета 9-го созыва от блока Маарах, и снова многие олим обратились ко мне с просьбой представлять их интересы и защищать их права в Кнессете, так как в парламентских списках от других партий нет, к сожалению, на реальных местах, ни одного представителя репатриантов из Советского Союза. Мне отраднo сознaвать, что вы обратились ко мне, и я с гордостью принимаю эту миссию.

Во время моей парламентской деятельности я посвящаю себя проблемам алии и абсорбции новых олим в стране. Среди прочего, я планирую добиться в Кнессете осуществления следующих планов и мероприятий: продолжить и еще более усилить политическую борьбу за алию из Советского Союза, изменить систему абсорбции ново-прибывших, разъяснить населению роль новых олим в хозяйственных успехах страны и оказать влияние на общественное мнение в этом направлении, добиться полного использования способностей и талантов олим с высшим образованием и высокой квалификацией, гарантируя им постоянную работу и предотвращая увольнения.

Всю свою жизнь в Израиле я ощущал себя как оле и постоянно чувствовал солидарность с каждым новоприбывшим из Советского Союза.

От вашей поддержки и вашего голоса на выборах будет во многом зависеть мое избрание в Кнессет, а значит, и то, смогу ли я выполнить взятую на себя миссию. Я надеюсь, что вы предоставите мне возможность вместе с вами действовать для вас, для достижения наших общих целей.

Й. Текоа

" РУССКАЯ МЫСЛЬ "

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3, 5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АВРААМ Б. ИОШУА — выдающийся представитель молодого поколения израильских прозаиков. Родился в 1936 году в Иерусалиме. Окончил Иерусалимский университет, был директором израильской школы в Париже. В течение трех лет (1964-1967) возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. После Шестидневной войны был деканом В Хайфском университете, где преподает литературу до настоящего времени. Удостоен литературной премии Рамат-Гана, премии Главы Правительства. Печатается в толстых литературных журналах Израиля: "Кешет" ("Радуга"), "Ахшав" ("Сейчас"), "Симан криа" ("Знак препинания") и других. А. Б. Иошуа — автор сценария кинофильма "Три дня и дитя". Его произведения переведены на английский, французский и другие европейские языки.



РОМАН КАПЛАН. Литератор и переводчик. Родился в Ленинграде в 1934 году. Получил искусствоведческое и филологическое образование. Окончил аспирантуру Московского педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза и преподавал английский язык и литературу в ряде вузов. Перевел несколько книг с английского языка на русский. С 1972 года живет в Израиле.

ЕВГЕНИЙ ЦВЕТКОВ. Геофизик. Родился в 1940 году. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Работал геофизиком в Институте физики земли АН СССР, там же защитил диссертацию. Затем перешел в журнал "Знание — сила", где работал заведующим отделом физики и химии. Автор многих статей и очерков, публиковался в "Неделе", журнале "Знание — сила" и других. В Израиль выехал в 1970 году.



МИХАИЛ КРЕПС. Родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Работал преподавателем английского языка и литературы в Институте Герцена. В СССР не печатался. Эмигрировал в 1974 году. Печатается в "Новом журнале" и в газете "Новое русское слово". Живет в США, где преподает русский язык и русскую литературу.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. См. журнал № 2.

АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. См. в номере 6.

ИЛЬЯ РУБИН. См. в № 6 журнала.

Д-р ИСРАЭЛЬ ЭЛЬДАД. Писатель и публицист. Родился в 1910 году в Польше. Философское и историческое образование получил в Венском университете. В 1940 году приехал в Израиль. Активный деятель подполья. Арестован. Сидел в британской тюрьме. Бежал. После Шестидневной войны (1967) — один из основателей Движения за неделимый Израиль. Преподает историю сионизма и еврейскую философию в Хайфском технионе. В марте 1977 года удостоен премии Черниховского за перевод семи томов сочинений Фридриха Ницше.



МАЙЯ КАГАНСКАЯ. См. журнал № 15.

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. См. журнал № 2.



МИХАЭЛЬ СТЕФАНЕК. Военный историк и публицист. Родился в городе Острава (Моравия) в 1907 году. Окончил Пражский университет в 1930 году, получив звание доктора права, а в 1935 году — второй факультет и стал доктором истории. В составе чешского корпуса под командованием генерала Свободы прошел во время Второй мировой войны путь от солдата до полковника. С 1943 по 1968 год был личным офицером по делам печати президента Свободы и Министерства обороны. В 1969 году приехал в Израиль и работает начальником военно-исторического отдела в библиотеке Тель-Авивского университета. Автор четырнадцати книг о Второй мировой войне.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ВТОРАЯ
"КРУШЕНИЕ", 210 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Отрицание отрицания
Московское Радио
Первый фельетон
Докажите, коли сумеете
Дело Абрама Великовского
Совесть партии
Расплата
Никита Иванович и другие
Надо жить
Aqua riga
Столоверчение
Скорняк поневоле
Снова бунт
...И снова иллюзии
Самая еврейская газета
В "черном списке"
Дебют
Литературный репортер
Неуправляемые ассоциации
Репликист Миша Синельников
Лимит на Пастернака
Ко медианты
Правда и ложь "Литературки"
Гайд-Парк при социализме
Александр Чаковский
Горечь свободы
Последний день
Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия)

Цена книги в Израиле — 27 лир, при заказе в издательстве — 24 лиры. При одновременной покупке первой и второй книг цена в магазине — 50 лир, в редакции — 44 лиры. Стоимость за границей — 3 доллара.
Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

A. B. JEHOSHUA. "The Delayed Khamsin, Wife and Daughter".

A novellette of an Israeli writer, telling the story of life of a modern Israeli family.

ROMAN KAPLAN. "Our Armenian Blood".

Short stories of the Bohemian life of young people in Moscow.

YEVGENY TZVETKOV. "The Mushroom" and "A Talk with a Deaf-Mute".

Two science fiction stories.

MIKHAIL KREPS. Poems.

LIA VLADIMIROVA. Poems.

HENRI VOLOKHONSKY. Poems.

ILYA RUBIN. Poems.

Dr. EL DAD. "The Drunk at their Own Feast".

An essay about the ways of Israeli democracy.

MAYA KAGANSKAYA. "Tolstoyevsky's Heirs or the 1960V".

An essay about time.

NATALIA RUBINSTEIN. "A Tale of the Land Ibansky".

A critical review of A. Zinoviev's book "The Lower Heights".

M. STEPHANEK. "Prague, August 21".

Reminiscences of President Svoboda's personal press officer.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 10

Литературный, общественно-политический и религиозный журнал

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Галич — Из новых стихов

Виктор Некрасов — Взгляд и нечто

-Иосиф Бродский — Часть речи. Цикл стихотворений

Иржи Гохман — Чешский хэппенинг. Роман. Окончание

СТИХИ

Шкое Гасан — «Жив язык, значит — жив народ-... Перевод
с курдского и предисловие Б. Бетаки

Виктор Кривулин — Из цикла «Б полях Эдема»

66-й ГОД ИЗДАНИЯ

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

ИСТОКИ

Степан Петриченко — Правда о кронштадтских событиях.

Публикация Александра Скирды

Борис Бажанов — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего
секретаря Сталина). Окончание

ЗАПАД — ВОСТОК

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Первый, выпуск польской «Хроники»

ИСТОРИЯ

Александр Янов — Комплекс Грозного (Иваниана). Окончание

ИСКУССТВО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Главный редактор журнала — ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

«Континент» выходит ежеквартально.

Цена отдельного номера ДМ. 12* пересылка за счет заказчика.

Годовая подписка ДМ. 40, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу

главного склада издательства и экспедиции



A. Neimanis · Buchvertrieb

Bauer Str. 28 — 8000 Munchen 40
GERMANY Tel. 37-05-34

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧА-
ТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ
ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТ-
СКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;

25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ

ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД

ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ) : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ;

"NOVOE RUSSKYE SLOVO"

243 WEST 56 St., NEWYORK, NY., 10019 USA.

21 ГОСУДАРСТВО У АРАБОВ. У НАС ОДНО ГОСУДАРСТВО, СТРЕМЯЩЕЕСЯ К МИРУ.

*Правительство Ликуда принесет Израилу мир.
Правительство Ликуда не пожалеет усилий для продвижения к миру:*

1. Мирная инициатива Правительства Ликуда будет позитивной. Израиль пригласит своих соседей к проведению прямых переговоров, ради подписания мирного договора, без предварительных условий и без формулировок, которые были бы представлены извне.
2. Правительство Ликуда примет все необходимые меры ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НОВОЙ ВОЙНЫ. Твердая и надежная позиция Правительства Ликуда сдержит агрессию и продвинет стремления к миру в нашем районе.
3. В переговорах с Египтом и Сирией, цель которых — мирные договоры, Правительство Ликуда будет стремиться к такому соглашению, которое примет во внимание ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ СТОРОН.
4. С подписанием мирных договоров будет положен конец состоянию войны, определены границы и созданы нормальные государственные, дипломатические и хозяйственные отношения на основе взаимности.

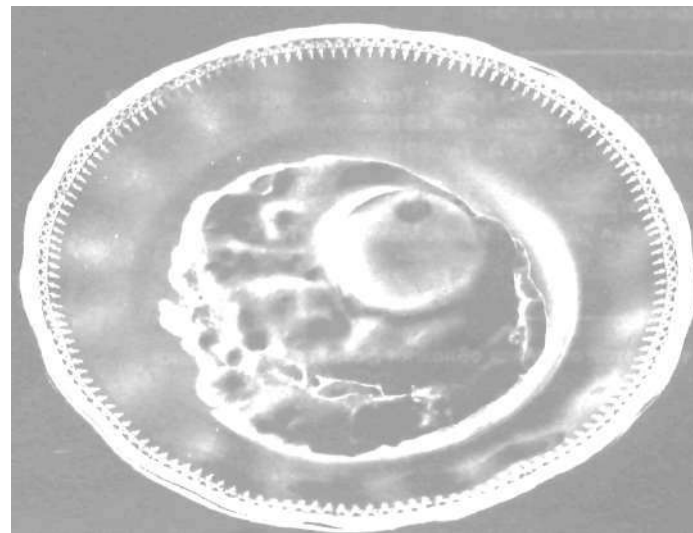
21 ГОСУДАРСТВО У АРАБОВ.

У НАС — ОДНО ГОСУДАРСТВО, ВЕРЯЩЕЕ В МИР.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИКУДА ВЕРИТ В НАРОД И ПОЛАГАЕТСЯ НА СИЛУ ИЗРАИЛЯ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИКУДА ПРИНЕСЕТ МИР
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА СИЛА В ИЗРАИЛЕ, И ОНА В СОСТОЯНИИ
СМЕНИТЬ РЕЖИМ

ЛИКУДА — СИЛА 1.

ВЕРНО,
ДЛЯ ЭТОГО —
ТЫ НЕ НУЖДАЕШЬСЯ В НАС...



ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНУЮ ЯИЧНИЦУ ТЫ МОЖЕШЬ ДАЖЕ НА* ПРИМУСЕ. НО СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ ТВОЕМУ МУЖУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЭТОМУ У СОСЕДКИ, КОТОРАЯ ГОТОВИТ МУЖУ.

ПРИХОДИ К НАМ, И ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ПЛИТУ, УСТРАИВАЮЩУЮ ТЕБЯ ПО РАЗМЕРУ, ПО ФОРМЕ. ПО ЦЕНЕ И УДОБСТВУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ. ТЫ ПОЛУЧИШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОТОВИТЬ ПИЩУ. ДОСТОЙНУЮ ТВОЕГО МУЖА. ПЛИТА "ПАЗ-ГАЗ" ПОЗВОЛИТ ТЕБЕ С БОЛЬШОЙ ЛЕГКОСТЬЮ ГОТОВИТЬ, ПЕЧЬ, ТУШИТЬ И ЖАРИТЬ.



"ПАЗ-ГАЗ" СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ ДОВОЛЕН.

Отв. за выпуск Белла Немировская
Корректор Нина Островская

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
л. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani St. Т.-А. Tel. 621085.

Фотолитография Ор-Хай. П. Я. 36483. Т.-А.
Типография "Дерби". Улица Микцоа, 9. Т.—А.

На четвертой странице обложки фотоэтиюд Н. Слопака.

